

БОРИС ДРОЗД

**ДОЛГАЯ ДОРОГА
К ДОМУ**

18+

Борис Дрозд
Долгая дорога к дому

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Дрозд Б. Д.

Долгая дорога к дому / Б. Д. Дрозд — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Читая роман «Долгая дорога к дому», читатель окажется в городе Комсомольске-на-Амуре конца 90-х и первой половины «нулевых» годов, где начинаются, а затем заканчиваются события романа. Главный герой романа Никитин выброшен из родного города роковыми трагическими событиями. Его вынужденные скитания по стране и по загранице в поисках заработка, а затем в поисках любимой женщины, его «битва» с драматическими жизненными обстоятельствами, пронзительная достоверность описываемых событий и любовных переживаний, преданность любимой женщине, - всё это найдет глубокий отклик в душе читателя.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	11
III	15
IV	24
V	37
VI	42
VII	54
VIII	59
IX	66
X	70
XI	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Часть первая

I

Трехэтажный особняк этой преуспевающей строительной компании, переделанный из здания бывшего детского сада, был обнесен высоким бетонным забором. Надстроенный третий этаж резко отличался от двух остальных красным цветом кирпича, более частыми, но меньших размеров окнами со свежими, еще не крашенными снаружи рамами, различными фигурами и узорами из кирпичей, положенных поперек и выпущенных на несколько сантиметров вперед против общего ряда кладки. Венчали особняк деревянные, узорчатые башенки. «Северо-Западная строительная компания», – прочел Никитин табличку возле ворот.

Внутри дворика росли, как видно, с осени высаженные аккуратными рядками елочки и были разбиты цветочные клумбы, меж которых пролегали асфальтированные дорожки. А сбоку особняка располагалась автостоянка, на которой были припаркованы три джипа и несколько японских легковушек. Какой-то человек в камуфляжной форме и спортивной шапочке, вероятно, охранник, лениво шаркал метлой по асфальту – сгонял с тротуарной дорожки воду от растаявшего снега. Работа была бесплодной, и Никитин сразу определил, что человек просто «дуру нарезает» от безделья, чтобы начальство не говорило, что вот-де сидит без дела.

У закрытых металлических ворот находилась деревянная будочка с дверью и двумя большими окнами – одно выходило наружу, другое – внутрь дворика. Это была проходная.

Никитин приблизился к ее дверям вплотную. Будочка насквозь просвечивалась солнцем. Он миновал ее и оказался во дворе. Рядом с проходной прогуливался еще один охранник, тоже в камуфляжной форме и спортивной шапочке на голове. Заметив Никитина, он с ленцой, шаркая ботинками с развязанными шнурками, подошел к нему. Это был молодой человек лет двадцати пяти, сытый, круглолицый, с неприятно, по-бабьи, отвисающим задом, – скорее всего жиреющий от неподвижности своей работы. Ему было даже лень завязать волочащиеся по асфальту шнурки, – должно быть, сунул в ботинки ноги, чтобы выскочить и прогуляться, а его шаркающая, ленивая походка сказала Никитину о том, что его нечасто тревожат в течение дня. Никитин заметил еще, что лицо у него было, как у скопца, с редким пушком, не знавшее бритвы.

– Вы по объявлению о работе? – спросил охранник.

– Да, – ответил Никитин.

– С дальнего торца дверь, – проговорил охранник и махнул в сторону особняка.

Внутреннее убранство особняка отличалось еще большим благополучием и довольством теплой, сытой, отлаженной жизни: в холле стояли пальмы в кадках, два огромных аквариума с рыбками, кожаная мягкая мебель у входа, стены были отделаны мраморной крошкой. Все это было не в диковинку Никитину, он видел офисы и покруче этого, но теперь даже всякий вид обычного благополучия и довольства вызывал в нем острую тоску.

За день шатания по слякотным улицам города у него промокли ноги от дырявых подошв; в правом ботинке при каждом шаге слышался противный хлюпающий звук, и, как тщательно ни вытирал Никитин ноги о губчатый коврик у входных дверей, за ним все равно оставались мокрые следы на новом, ещё не затертом линолеумном полу. Никитину даже казалось, что они оставались не от самих ботинок, а от насквозь промокнувших носков.

У одного из кабинетов первого этажа было многолюдно. Часть людей в ожидании своей очереди сидели на стульях, а часть стояли вдоль стен, либо поодиночке, либо группками. Некоторые из них о чем-то вполголоса переговаривались.

Никитин спросил последнего в очереди и в ожидании сел на освободившийся стул, по привычке подобрав под себя ноги.

За три года полного безденежья с тех пор, как летом 1995 года его – некогда инженера-технолога одного из отделов судостроительного завода – уволили с предприятия из-за остановки предприятия и отсутствия заказов, он еще не успел до конца обноситься. И если судить по одежде, он еще не выглядел совсем оборванцем, последним нищим. Кроме ботинок, еще ничто не кричало в его наружности о бедственном положении. Он снял норковую рыжую шапку – она была еще хороша, мех вытерся только на ободке, у подкладки. Кашемировое пальто тоже смотрелось еще пристойно, так же, как и фланелевый шарф в коричневую полоску, под цвет пальто. Но его ботинки со скошенными каблуками, в некоторых местах зашитые по швам простыми нитками, так и кричали о нищете. Купить новые было не на что, а отдать такую рвань в починку он стыдился, да и, вероятно, их бы и не взяли в ремонт, так что, бывая в присутственных местах, Никитин старался прятать ноги под стул или под скамейку и никогда не сидел, заложив ногу за ногу.

Ждать своей очереди пришлось около часа. Из кабинета то выходили, то очередные входили, и на всякого вышедшего из кабинета тотчас же набрасывались с расспросами: как да что, о чем спрашивают, какие вопросы задают, да какие требования? – в точности все было, как на студенческом экзамене, когда проэкзаменованный выходил из аудитории, либо счастливый, либо несчастный, либо недовольный.

Никитин присматривался к людям. Были среди безработных разные люди – и немолодые, как он, и молодые, и среднего возраста. Случалось, кто-то выходил из кабинета со счастливым лицом – это означало, как уже понял Никитин, что такому человеку давали направление на участок на собеседование с его начальником. Практически это означало, что человека принимали на работу.

Северо-Западная строительная компания строила железные и автомобильные дороги по всей России, и теперь прокладывала железную и одновременно автомобильную дорогу к населенному пункту Эльга, который находился в Якутии, где имелись богатые запасы каменного угля.

Никитин с любопытством прислушивался к разговорам, которые велись около него ожидающими людьми.

– А если к частникам куда-нибудь на лесоразработки податься или к старателям на золото? – говорил один из них.

– Да, к золотарям бы сейчас податься... У золотарей сейчас самое время начинается, – соглашался с ним другой.

– Размечтались! Там вас ждут-не дождутся! – слышался ещё чей-то голос.

– Не знаю, как насчет золотарей, – говорил ещё один, – а про этих лесных частников я слышан – во! Человек пять-шесть своих ребят встречал, и все в один голос говорят, что там один обман. Да, жрать дают, нищие авансы дают, а зарплаты нет. И не жди. А погибают в тайге так, что не приведи господи! Все из тебя выжмут!

– Смотря где! – встрял еще кто-то. – Я у одного работал, он пятьсот баксов платил, но вкалывали мы почти весь световой день! Часов по четырнадцать-шестнадцать да без выходных!

– Да, у частников кабала, будь здоров!

– Да-да, я тоже об этом слышал, – подтвердил еще один.

Говоривших было четверо или пятеро, сошедшихся здесь, видимо, случайно, судя по разговору, из разных мест, но у Никитина сложилось такое ощущение, что все люди здесь были знакомы между собой. Впрочем, он знал, что в таких местах люди знакомятся быстро, и новости разлетаются мгновенно. Уже, как видно, не один раз они столкнулись друг с другом в различных конторах в поисках работы. И еще Никитин знал, что такие вот конторы, помимо

биржи труда, являются как бы неофициальным источником сведений о состоянии, так сказать, рынка труда в близлежащей округе. Придя в такую контору и разговорившись, можно было узнать, кого и куда могут принять, где и сколько платят, какие условия и многое другое. И ему не надо было тратить много времени, чтобы узнать, что это была за публика, среди которой он сидел в ожидании. В основном, это были люди, ищущие сезонных, вахтовых заработков, некоторые из них принадлежали к разряду перекаати-поле. В городе на заводах, на стройках, которые еще теплились, работу им было не найти.

... -И все талдычат: «Подождите, мол, лес еще не продали, контракт-де не подписан, деньги на счет не поступили. Лапшу на уши вешают. А то еще, мол, налоговая наехала... Врут годами и годами – одни авансы да жрачка, чтобы ты не подох... Люди уходят, а зарплата – ищи свищи, ходи не выходишь...

– Это точно!

– Нет, ну их, этих частников!

– А то еще шмотки привезут или продукты вдвое дороже, чем в магазинах. Не хочешь, не бери, вообще с носом останешься... И приходится брать, а то вообще семья голодная и раздетая.

– Суки! – выругался кто-то.

– А здесь-то как? – поинтересовался Никитин у соседа.

– Ну, здесь, говорят, все законно, по трудовой книжке. И больничный платят, и отпуск, и зарплату без задержек... Фирма вроде!

– Да, нынче времечко такое, что нашего брата работягу ни в грош не ставят... Кинуть могут по любому, в любом месте... И здесь могут кинуть так, что не обрадуешься. Государство кидает, а про этих-то что говорить?

Дверь открылась, и в коридор вышел высокий, крепкий на вид парень лет под тридцать, одетый в черную потертую кожаную куртку и кроличью шапку, улыбающийся во весь рот.

– Что, взяли? – чуть ли не хором спросили его.

– Дали направление к начальнику участка, – не переставая счастливо улыбаться, – ответил тот.

– Да ну?

– Повезло же!

– А что ему молодому – вкалывать да вкалывать!

– Да у молодых шансы не то, что у нас... Наше время прошло!

Подошла очередь Никитина. Он, стараясь преодолеть неуверенность, чувствуя биение сердца, шагнул в кабинет, сел на стул перед письменным столом, за которым сидел молодой, лет тридцати с небольшим, уже лысеющий и рано располневший человек. Никитин протянул ему документы – паспорт и трудовую книжку.

Тот бегло взглянул в его паспорт и спросил:

– На что вы рассчитываете в вашем возрасте?

– На любую работу.

– Для нашей компании сорок пять – это предел. Нам нужны грузчики, дорожные рабочие, специалисты дорожных машин, работа ломовая, вахтовая, по двенадцать-четырнадцать часов, условия проживания тяжелые.

– Я здоров, крепок, вынослив, не страдаю болячками. Мне всего сорок восемь лет, всего-то три года разницы, – отвечал Никитин.

– В сорок пять мы могли бы взять только в инженерный корпус, но там у нас штат укомплектован.

– Я инженер-технолог, – не сдавался Никитин. – Был ведущим инженером отдела, – с робкой надеждой пояснил он.

Человечек без особого энтузиазма заглянул на последнюю страницу его трудовой книжки, пожал плечами, вздохнул.

– Извините, но инженерный штат у нас укомплектован, – проговорил он, возвращая Никитину документы, – а к рабочим специальностям у нас жесткие требования – до сорока пяти лет.

– Но неужели нельзя сделать исключений? – ещё цеплялся Никитин за любую возможность.

– Увы, должен вас огорчить: свыше сорока пяти мы даже заявления не рассматриваем. Даже в обслуживающий персонал. Поищите где-нибудь в другом месте.

– Но попробуйте хоть на месяц, с испытанием... Никто не мешает вам попробовать... – Никитин почувствовал, как голос его дрогнул, взял унижающе-просительные ноты, а это никогда не предвещало ничего хорошего и настраивало работодателей еще хуже.

– На месяц? У нас минимальный контракт – полгода... Ни один начальник участка не рискнет взять вас на работу в таком возрасте...

Все было ясно. Человечек, написав отказ на его листке с биржи, уже равнодушно глядел в окно, отвернувшись от него, сделав «замороженное» лицо и барабанил пальцами по столу. Никитин, конечно, не особенно надеялся, но все же где-то внутри у него жила надежда на удачу. Главное, он не ожидал, что отказ будет таким скорым. Без вариантов. Он оглядывал этот уютный, чистенький кабинет с мягкими креслами и красивыми коричневыми шторами, коврами на полу, и все еще не мог смириться с неудачей. Как, собственно говоря, быстро, за одну минуту, решилась его судьба! Везде одно и то же: нужны молодые, крепкие, выносливые. Можно и без специальностей. Их обучат. А вот Никитина они уже учить не станут. Или нужны высококлассные специалисты, которые бы сразу же врубались в работу и давали им прибыль или сверхприбыль. И до сорока или до сорока пяти лет. А после сорока пяти лет как будто в России мужик уже ничего не стоит. После сорока пяти лет с него уже ничего не выжмешь.

Никитин вышел в коридор, словно оглушенный.

– Ну, что, браток, не взяли? – подскочили к нему тут же несколько человек.

Никитин огорченно махнул рукой, хотя по его виду и так все было понятно.

– По возрасту не прошел, да? – упавшим голосом спросил тот, который сидел рядом с ним. Он шел следом за Никитиным, не отставая от него и примериваясь к его быстрому шагу, а Никитин теперь стремительно шагал к выходным дверям. – Что, по возрасту не взяли, да?

Никитин утвердительно кивнул головой.

– Значит, все-таки по возрасту не взяли... Значит, и мне не на что рассчитывать... – Он приотстал и проговорил как бы для себя: – Ладно, я все же попробую...

Никитин вышел на улицу. Затем – за ворота.

Это была уже пятая или шестая контора, которую Никитин посетил сегодня. Все круги в поисках работы были им уже пройдены, начиная от биржи и кончая самыми ненадежными и последними конторами, где зарплату не платили вовсе или платили с полугодовым опозданием. В сорок восемь лет человек был уже выброшен из жизни и считай, что заживо погребен. И подумаешь – всего ему сорок восемь! – Никитин, шагая, зло сплюнул. – Посмотрели бы эти хилые или рано ожиревшие работодатели, что он в свои сорок восемь вытворяет в постели с Катей! Акции его сразу бы выросли, – тут не всякий еще молодой за ним угонится. А ведь ей сорок два, и она в самом золотом бабьем возрасте. Знали бы эти рано ожиревшие, рыхлые, дряблые мужики, что значит эти многочасовые ночные бдения! Что стало бы с этими холевыми, ленивыми, отвыкшими от физических усилий мужиками, попадись им такая неистовая в любви женщина, как Катя? А он, Никитин, сух, поджар, жилист, вынослив, как верблюд, не знает одышки, неутомим в любви. Кто бы еще кого списал бы тогда с корабля!

Эта мысль на какое-то время подбодрила его. Весь день сегодня он старался не киснуть, не падать духом и отгонять скверные мысли. Не взяли и не взяли – может, так оно и лучше. Подумаешь! Все равно когда-то кончатся неудачи, и он найдет себе работу.

Собственно говоря, он отлично понимал этих работодателей. Сам бы он на их месте поступал бы, скорее всего, точно так же. На рынке труда столько свободной молодой рабочей силы, из которой только выжимай да выжимай и прибавочную стоимость и какую хочешь. За кусок хлеба с маслом эти молодые силы готовы ломанами и кайлами камни из земли выворачивать. Зачем же брать на работу уже выжатых, отработавших свои лучшие годы людей, таких, как он, Никитин и других, которым подвалило к пятидесяти или перевалило за пятьдесят? – тем более здесь, в северном районе, где пенсионный возраст снижен на целых пять лет. Сколько волка ни корми, он все равно в лес глядит, – и сколько такого предпенсионного, уже выжатого советской системой мужика ни прикармливай, он все равно о скорой пенсии будет думать, о сохранении здоровья и о сбережении сил. Что ни говори, а мужик в России теперь кончается где-то на рубеже сорока пяти лет, правы они, эти работодатели, а за этим порогом – уже старость и тираж... Мужик за эти проклятые десять лет спился, выродился, зачах, смирился со своей жалкой участью.

Но как ни бодрился он, последний отказ в «Северо-Западной строительной компании» подкосил его, и в глубине души он никак не мог смириться с неудачей. Все-таки, думал он, шанс устроиться в эту компанию у него был, где-то что-то он не то сказал, не так выглядел, как нужно, не так подал себя. Может, все дело теперь в его лице, в походке, в жестах, в наружности? Ведь не всем отказывали по возрасту. Кто-то из его ровесников все-таки проходил через этот отбор. А ему точно везде стоп-сигнал поставлен.

Никитин как раз проходил мимо зеркальной витрины магазина и, бросив взгляд на нее, увидел себя со стороны – сутулого, поникшего, потерянного... Когда он утром выходил из дома, он выглядел значительно лучше. А теперь? Разве он похож на человека, которого захочется принять на работу? Нет, он похож на человека, которому всегда хочется отказать!

Никитин остановился и, делая вид, что хочет поправить шарф, стал вглядываться в свое лицо. Бог его знает, может, и правда, что-то не в порядке у него с лицом? Он уже знал, заметил за собой в эти три года, что он что-то утратил в себе такое, что вернуть уже трудно, быть может, невозможно, даже если он приложит огромные волевые и душевные усилия. Как будто капля за каплей каждый день из него за эти три года уходило, истаивало какое-то важное свойство, именуемое... именуемое... Черт его знает, как именуется это свойство! – подумалось Никитину. – Что-то в нем появилось такое, что сразу настораживает работодателей, настраивает их на отказ. Надо что-то срочно делать с лицом, с походкой, с осанкой, с голосом! Что-то за три года роковым образом изменилось в его лице, в наружности; наверное, какая-то печать обреченности и отчаяния появились не только в его лице, но и во всем облике. Как быстро потерял он уверенность в себе! Он, конечно, не сдался, и не сдастся, но все равно что-то ушло из его наружности навсегда.

И еще он с грустью подумал о том, что на него совсем не обращают внимания женщины. Как мужчина он как бы вне их оценок. Это ощущение жило в нем на подсознательном уровне, как и у большинства людей – хоть мужчин, хоть женщин. Это наблюдение он сделал в последние года полтора-два. Взгляды женщин обходят его стороной, как пустое место. Что-то важное для женщин исчезло с его лица, из его глаз, из его наружности. Ведь он же еще недурен собой, но для женщин как бы уже не мужчина. Он уже для них потерян. Мужчина предпенсионного возраста, не представляющий для них никакого интереса. Конечно, одежда многое значит, но все же... все же дело не в одной только одежде, а в чем-то другом.

И тут же он подумал о том, что у него есть Катя, и эта мысль как-то подбодрила его: всё же вот она что-то нашла в нём, не оттолкнула, не считает мужчиной предпенсионного возраста, не представляющим никакого интереса. И даже полюбила его.

И вспомнилось ему, что говорили они друг другу в последнее свидание перед тем, как Катя уехала в Москву за товаром.

– Мне уже сорок два года, а я ещё не любила. Двоих детей вырастила, жизнь скоро пройдет, старухой стану, – говорила ему она.

– Ты одна...одна теперь в моей жизни...мой свет, моё счастье, моя жизнь, подарок мне неожиданный-негаданный, – говорил ей Никитин.

– Я давно хотела и искала любви. Чувствовала, что старею, жизнь уходит, а счастья нет и нет. Я просила Бога о любви, и он послал мне тебя! – говорила ему она.

– Даже и подумать не могу, Катя, как я бы теперь жил без тебя. Твоя любовь меня просто спасла.

– Это ты – моё спасение. Думала, что никогда уже не полюблю.

– Мы, наверное, не имеем права на любовь, если у нас дети, и они страдают.

– Нет, Сашенька, нам нельзя жить без любви. Я уже нажилась и наглоталась этого воздуха без любви.

II

В этом году весна задержалась, на дворе заканчивалась первая декада апреля, а еще по настоящему только начало таять, и снегу в палисадниках, на площадях и на мостовых было еще много, и белел он совсем еще по-зимнему. Но на тротуарах, а особенно на мостовых, было полно луж, и на тополях в палисадниках и в скверах уже всю гомонились воробьи. Апрельский воздух был чуден, а голубое небо казалось бездонным, гляди не наглядишься.

Ощущение мокрых ног стало для Никитина уже привычным и не досаждало, и не нужно было ему, шагая по улицам, особенно лавировать, выбирая сухие островки и минуя лужи. Он знал, что ночью его все равно снова будет душить кашель, а днем же он только подкашливал.

Никитин быстро двигался по проспекту Мира в сторону биржи труда, на казенном языке называемой центром занятости населения. Сегодня десятое число – день выдачи зарплаты за разнарядки, за март, февраль и за все предыдущие месяцы, за которые эта зарплата была задержана. Никитин торопился, чтобы не быть в очереди последним. Шагая, он снял шапку, ему стало жарко. В зимних шапках уже мало кто ходил, одни только старики, но Никитин все еще носил ее – и потому, что весеннего головного убора у него не было, и потому, что шапка все-таки придавала больше весу его наружности.

Он вернулся на биржу, чтобы отдать листок с отказами от шести контор, названия и адреса которых были указаны в листке. Никитин давно уже не получал пособия по безработице, так как все отведенные для поисков работы сроки для него уже вышли. На биржу он ходил только за «разнарядками», которые давали поденную, разовую работу с копеечной оплатой, да еще иной раз кое-какие работодатели подавали на биржу заявки, а ему иной раз вручали листок с очередной возможностью трудоустроиться.

И теперь, несмотря на пятый час вечера и скорое окончание рабочего дня, здесь было многолюдно. Биржа как поликлиника или больница, как полицейский участок или судебное учреждение угнетающе действовала на людей. Здесь каждый чувствовал свою какую-то неполноценность или, выстаивая в длинных очередях, чувствовал себя униженным просителем. Тут у людей, если они еще не смирились со своей участью, уязвлялась гордость, страдало самолюбие, понижалась самооценка. Вид у людей, праздно слонявшихся по коридору или стоявших вдоль коридорных стен, был либо глубоко равнодушный, либо поникший, подавленный, даже обреченный.

Он спросил последнего в очереди в кассу. Люди, как и он, надеялись получить свои жалкие гроши за предыдущие отработанные дни по разнарядкам, и у каждого теперь теплилась мысль, что сегодня вдруг выдадут зарплату не только за отработанные предыдущие месяцы – март, февраль, но и за все остальные. Хотя в срок денег никогда не выдавали, и все это знали, но надежда всегда, как известно, умирает последней.

«Разнарядка» главным образом заключалась в общественных работах по уборке города, таких как убирать от снега улицы зимой и весной, выбрасывать лопатами из палисадников снег на мостовую, чтобы он быстрее таял, скалывать лед на тротуарах, на дорогах для быстрого таяния. Летом они помогали озеленять улицы, стригли газоны, обрезали ветки у деревьев, – и для всех этих работ «разнарядчиков» отправляли в муниципальные тресты «Зеленое хозяйство» или в «Спецавтохозяйство». Тресты присылали на биржу труда заявки на нужное количество рабочих, и работали они в этих трестах, но деньги получали на бирже, куда предприятия перечисляли заработанные ими деньги. Работа была копеечная, но все же давала хоть какое-то пропитание. Выходило рублей двадцать в день. На разнарядку записывались те, у кого было совсем скверно, когда никакой работы не было и не предвиделось, кого уже совсем поджало, кто не мог даже на личном авто, работая таксистом, заработать себе на пропитание и назавтра у него не было даже на хлеб и на соль с луком. Как теперь у Никитина. По всем правилам,

за поденную работу должны были выдавать деньги ежедневно или хотя бы раз в неделю, но деньги и на бирже задерживали месяцами, так как тресты тоже перечисляли деньги в центр занятости с большими задержками, и на бирже скопилась задолженность – это был замкнутый круг, который разомкнется, как видно, еще не скоро.

И тут в коридоре, стоя в конце длинной очереди в кассу, Никитин услышал, как его окликнули:

– Никитин, Сашка, и ты здесь?

Никитин обернулся. Перед ним стоял Борис Лоншаков, старый знакомец еще по тем временам, когда они пели вместе в самодеятельном заводском русском народном хоре.

Они крепко пожали друг другу руки.

– Ты как здесь оказался? – спросил Борис.

– Да так вот, шарахаюсь по разным конторам в поисках работы.

– И ты тоже? Разве тебя тоже сократили?

– Как видишь. Уже почти три года обретаюсь на бирже.

– Ты с разнарядки? – спросил Борис.

– Нет, сегодня не взял разнарядку, ходил с бумагой по конторам. Да и толку с этих разнарядок, деньги, сам видишь, не спешат выдавать.

– Ну и как, повезло с работой?

– Ничего не вышло. Везде одни отказы.

– Да, видно, мы свое уже отжили, отработали...

– Не стойте, денег сегодня не будет, – сказала проходившая мимо женщина с ворохом бумаг в руках.

– А ведь выдавали сегодня, я знаю, что выдавали! – выкрикнул женский голос из очереди.

– Это старые долги заплатили, еще за прошлый год, – отвечала она.

– А мы что, мы-то что? Третий месяц не платят несчастные гроши!

– Мы как будто не люди!

Очередь загудела, недовольно зароптала, но не бойко, а как-то вяло; никто никакой инициативы и активных действий не проявил. Каждый из ожидавших людей принял эту новость с привычным обреченным смирением и спокойствием, с внутренней готовностью к каким-нибудь другим дальнейшим шагам для выживания. Привычка к отказам, к тому, что заработанные деньги возвратятся лишь через два-три месяца, а то и через полгода, а то и вовсе не вернуться, была существенной чертой бытия. При этом новом режиме родилось и укрепилось новое состояние – нет зарплаты. Ее нет сегодня, завтра, через три месяца, через полгода, ее вообще может не быть, словно бы заработанные деньги куда-то испарялись, но и к этому привыкли русские люди. Обман ли это был, умышленность какая-нибудь, или, в самом деле, неоспоримые финансовые трудности у городских или центральных властей – людей уже в принципе не волновало. На деньги как бы уже и не надеялись, на справедливость тоже. Постояли, поворчали, ушли в себя со своим недовольством, глухим ропотом и молча разошлись. Где-нибудь в других краях уже давно бы снесли к черту эту власть, по крайней мере, не давали бы ей покоя, но в России этот порог терпения и молчаливой безропотности, безгласой покорности, вероятно, ещё не был пройден. Быть может, не будет пройден никогда.

Они вышли с Борисом с биржи и, делясь новостями, медленно двинулись по проспекту Мира к автобусной остановке. Борис хромал на правую ногу и опирался на тросточку. Некогда черные смолистые кудри Бориса – гроза женщин в прошлом – больше чем наполовину поседел и поредел. Никитин, не видевший его лет семь-восемь, отметил это с болью и сожалением.

– Почти два года по больницам да по больницам шатаюсь, – рассказывал о себе Борис. – Операция была неудачной, нерв повредили какой-то, теперь, вот видишь, с палкой костыляю...

Борис Лоншаков когда-то был местной знаменитостью, солистом любительского оперного театра, а потом любительского русского народного хора, имел красивый, сочный баритон. Пел он смолоду, и ему пророчили большое будущее, звали во многие профессиональные хоры страны, но он не решился никуда поехать, не осмелился поступать в консерваторию или в институт искусств, – так и остался в провинции, работал инженером на судостроительном заводе. Он был лет на пять старше Никитина, уволен был с завода ещё с первой волной сокращаемых, уже как видно приспособился, притерпелся и научился выживать. Впрочем, дети у него были уже взрослые, старше дочерей Никитина.

– Полтора года до пенсии осталось, как-нибудь дотяну, – продолжал Борис.

– Пенсия – несчастных пятьсот рублей, меньше двадцати долларов. Разве на нее проживешь? – сетовал Никитин.

– А куда деваться? Деваться-то некуда... Нам с женой много ли двоим надо? – отвечал на это Борис.

– Где-нибудь в концертах участвуешь? – поинтересовался Никитин.

– Какое там! – отмахнулся Борис. – Какие сейчас концерты? Мы с тобой свое уже отпели!

«Ну, ты-то, может, уже и отпел, а я еще нет, – подумал Никитин. – Нет, я еще повоюю с жизнью, я еще свое спою!»

– Пойдем бутылку, что ли, возьмем, встречу отметим, – предложил Борис.

– Какую бутылку, на что? – удивился Никитин.

– У меня заначка, я угощаю.

Никитин не прочь был выпить, но не хотелось пить с Борисом, и он отказался под тем предлогом, что ему срочно нужно домой. Он почувствовал, что общение с Борисом, который был обреченно настроен, наведет на него тоску. За эти три года, что толкался он на бирже и по разным конторам в поисках работы он повстречал сотни таких, как Борис, и как сам он, Никитин. Это был особый слой людей, ставших в короткое время ненужными большею частью из-за своего возраста или из-за потери квалификации, или ненужности уже самой профессии, канувшей в небытие. Они годами обивали пороги биржи. От постоянного хождения, от безделья, от этого ощущения ненужности во всем их облике было что-то обреченное, сломленное, как теперь в нем, в Никитине. В таких лицах, где бы они ему ни попадались, сразу прочитывалась вся безнадежность и отчаяние их настоящего положения. У них была только одна надежда: как бы дотянуть до пенсии, пусть нищенской, но все же стабильной пенсии. Никитин пугался таких лиц, сторонился таких людей, не заговаривал с ними, – он был суеверен, ему казалось, что этот дух безнадежности и отчаяния к своему положению заражает людей, как вирус, и передастся и ему.

Они попрощались, Борис остался ждать автобуса на остановке, а Никитин двинулся по проспекту Мира в сторону площади Metallургов. Шагая, Никитин выгреб всю мелочь из кармана, пересчитал ее. Такого махрового безденежья у него не было уже давно... в сущности, не было никогда до такого отчаяния, чтобы он вот так пересчитывал копейки. Что он скажет своей младшей дочери Полине? Ведь он сегодня обещал ей купить куриных окорочков, булочек с маком и чего-нибудь сладкого. Ничего не выйдет. И как назло, еще «жигуленок» совсем забрахлил, страшно в такую погоду выезжать для заработка таксистом, вообще машину угробишь.

Он рассудил так: если до дома дойти пешком, а это час ходьбы в другой район города, или проехать зайцем, то можно купить пару булочек с маком, а назавтра остаться без денег на проезд, а значит, и завтра ему придется идти пешком на «разнарядку». И надеяться на то, что завтра откуда-нибудь свалятся на него деньги.

Побродив по улицам, он купил две булочки с маком для Полины, положил их в пакет и решил ехать домой зайцем. Ему стыдно было перед дочерью не сдержать своего обещания.

Он уже научился ездить зайцем в трамваях и автобусах. Надо было садиться на тех остановках, где много людей, с толпой войти в трамвай, юркнуть на сидение или забиться в даль-

ний угол и сразу же отвернуться к окну. И замереть, как будто ты уже давно едешь. И это очень часто срабатывало.

III

Когда он вернулся в свой домик в поселке из разряда частного сектора, расположенного между двумя районами городами, дома была одна жена, детей не было. Жена лежала на диване, вытянув руки вдоль тела, и безжизненно глядела в потолок. Лицо у нее было мертвенное, вид крайне измученный. Еще не высохшие слезы говорили о том, что она недавно плакала.

– Где дети? – спросил он.

– Алена повела Полину к врачу, я пришла домой, и у меня уже не было сил двигаться, я еле-еле разделась.

Никитин понимал ее. Жена значилась фельдшером в поликлинике, работая до прошлого года как участковый врач. Но с некоторых пор фельдшерам запретили занимать должности врачей и ее перевели участковой медсестрой. Работа была собачья, сплошная беготня по подъездам, по лестницам многоэтажек, с неработающими лифтами, с хамовитыми жильцами, а зарплата у медсестер – сущие гроши, которые притом не выплачивались по три-четыре месяца. Во всем обвиняли страховую медицину. Контора-де была в Москве, а до нее не добраться. Ясное дело, говорили, что в Москве дельцы, сосредоточив их зарплатные деньги, прокручивали их по несколько месяцев, случалось, даже по полгода, или держали их на депозите...

Она с усилием поднялась, села, свесив ноги на пол, казалось, с трудом перевела дыхание и вдруг заговорила повышенным тоном, близким к истерике:

– Я уже больше не могу! Это так ужасно! Это один сплошной ужас!

– Что ужасно? – спросил он.

– Неужели ты не видишь весь ужас нашей жизни? – тем же тоном продолжала жена. – Ужасно и унижительно стоять в очереди за грошовыми субсидиями! Ужасно не получать зарплату по три месяца! В школу, в детский сад придешь – там на тебя смотрят как на последнюю нищенку, потому что у твоего ребенка нет денег на обед, нет денег на всякие мероприятия, которые устраиваются в детсаду или в школе! Приходится унижаться, без конца занимать денег, стоять в кошмарной очереди за этими жалкими подачками! Ты знаешь, сколько мы уже позанимали? Ты хотя бы это знаешь?

– Ты думаешь, если без конца причитать да вздыхать, то станет легче? – отвечал жене Никитин. – Я делаю все, что могу, что в моих силах. Что я могу изменить? Нам... всем нам, обездоленным в одночасье, только и остается, что взять в руки топоры и вилы и пойти войной на власть, и, либо сдохнуть, либо снести к черту этот каннибальский режим!

– У тебя еще хватает сил философствовать! – вскричала жена. – А я? О, как я несчастна! Как же я несчастна!

Она заплакала навзрыд, закрыв лицо ладонями.

– Успокойся, Наташ... Не одни мы такие, почти все так живут, вся страна, – сказал Никитин. – Переживем это время, все наладится...

– Я так не могу! Я уже не могу так жить, я живу из последних сил! – говорила она сквозь рыдания, отняв ладони от лица. – У меня уже нет больше сил смотреть голодным детям в глаза! Делай же что-нибудь... слышишь ты? Ты мужчина, изволь обеспечить детей хотя бы продуктами! Иди хоть милостыню проси, хоть воруй, а обеспечь детей продуктами! Ты принес сегодня чего-нибудь?

– Нет, нам ничего не дали и работу пока не нашел.

Жена зарыдала уже истерически.

– Потерпи, выживем как-нибудь, – утешал ее Никитин. – Скоро на огороде что-то начнет расти, а там с мая и всю осень рыбалка будет, с реки вылезать не буду, денег заработаем, запасы сделаем... Выживем как-нибудь, – продолжал утешать он ее.

– Это осенью! А сейчас как жить? Вся моя задержанная зарплата уйдет на долги! И так будет без конца! А ты знаешь, что осенью Полина идет в школу? Ты, наверное, уже забыл об этом?

– Ничего я не забыл!

– А ты знаешь, сколько денег нужно, чтобы собрать ее в школу? Ты хотя бы примерно знаешь? Уже сейчас нужно думать, где добыть этих проклятых денег!

Она опять зашлась в рыданиях.

Никитину стало жаль ее до слез. Он подошел к ней, погладил ее по волосам, хотел приласкать и утешить, и в этот миг вдруг остро почувствовал, что он не любит ее... совсем, ни капли не любит эту женщину, с которой прожил около двадцати лет; не любит до того, что даже просто приласкать ее не может. Они с Натальей жили дружно, что называется душа в душу. Без любви, но в уважении. Она была хорошей женой, ему не в чем было ее упрекнуть, как только в сердечной, душевной холодности. Вот так и пролетели двадцать лет, а любви, той, которой ему хотелось ещё с юности и о которой он втайне мечтал всю жизнь, такой любви в его жизни так и не было. И ему было горько оттого, что он эту любовь так и не почувствовал.

И теперь, вероятно, от этого его прикосновение к ней вышло у него фальшивым, холодным, натянутым, жену всю так и передернуло от его прикосновения, и она вздрогнула от отвращения.

– Еще ты пьешь из меня кровь! – вскричала она, глядя на него заплаканными глазами. – В такое время связался с бабой! Думаешь только о собственном удовольствии! Бог тебя накажет!

– Никто не может отнять у меня права любить женщину. Мне скоро пятьдесят, жизнь уже почти прожита для любви.

– Ты не имеешь права на личную жизнь! – кричала она.

– Но любить-то я имею право?

– Наступи себе на яйца – вот и всё твоё право! Детей надо поднимать!

– Обязательно надо. Разве я отказываюсь? Вот и будем их поднимать.

– Зачем я тебе родила Полю? – рыдала жена. – Какая же я дура!

– Она нас с тобой не спрашивала, и не покушайся на святое. Родилась – и всё.

– Если бы не Поля, я бы тебя давно выгнала в три шеи! Ты знаешь, какие первые слова произносит Поля, когда просыпается? Знаешь или нет?

Никитин отмалчивался.

– А где папа? – она спрашивает. – Когда тебя нет дома, её лихорадит, она ничего не ест! Она без тебя уснуть не может!

– Хватит! Не трави мне душу!

– Нет, не хватит!

Никитин вышел в кухню, чтобы не слышать ее упреков и причитаний. Тем больше его доставали ее слова, чем были они справедливей. Но жена тотчас же за ним следом.

Его жена была спокойная, ровная женщина, никогда не повышавшая голоса. Она, не упрекнувшая его ни разу в том, что он фактически жил с другой женщиной, не каждый день ночевал дома, смотревшая на него с немым укором, – его жена всегда была молчалива и спокойна в своем женском и человеческом горе. Вместе с навалившейся нищетой она достойно встретила этот второй удар судьбы – его связь с другой женщиной, считая его связью возрастной болезнью стареющего мужчины, – и надеявшаяся на то, что он все равно неизбежно вернется в семью, – теперь его жена пришла в ярость. Такой яростной он ее еще не видел.

– Нет, ты спокоен, как удав! – кричала она. – Тебя не кольшет наша нищета, вся эта безысходность! Еще бы – у тебя есть отрада! Ты бабу себе завел, чтобы спрятаться от проблем! С тебя как с гуся вода! Ты не имеешь права на личную жизнь, когда дети голодают! Ты слышишь? В такую критическую минуту ты должен думать только о семье, о нашем выживании!

Никитин отмалчивался, глядя в окно и вобрав голову в плечи. Ему, как обычно, хотелось собраться и уйти куда-нибудь, но тут открылась дверь и вошли дети. Жена, всегда сдерживавшаяся при детях, ушла в свою комнату.

– Папочка, ты купил мне чего-нибудь вкусенького как обещал? – сразу с порога спросила отца Полина.

– Нет, Поля, сегодня нам денежек не дали, – вздохнув, проговорил он.

Их старшая дочь Алена, едва взглянув на него и буркнув что-то вместо приветствия, быстро прошла к себе, даже не задержавшись в кухне. Ее гардеробный шкаф был у нее в дальней комнате. Задержать ее в кухне могло только что-нибудь вкусенькое, если бы он это принес, но увидев пустой стол, Алена поняла, что отец пришел без денег.

– Папочка, ну, раздень меня! – напомнила о себе стоявшая у порога Полина.

Он стал раздевать ее, стянул и повесил на вешалку шубку, на полку – шапку с рукавичками.

– А почему, папочка, вам денежки не дают? – спросила его Полина.

– А потому, доченька, что поезд из Москвы ещё не приехал с деньгами, – отговорился Никитин.

– А когда он приедет?

– Его ждут на этой неделе, завтра или послезавтра. Москва очень-очень далеко от нас находится.

Полина прошла к столу и села на стул.

– Я кушать хочу, папочка, – опять напомнила ему о еде дочь. – Дай мне чего-нибудь покушать. Мы сейчас зашли к бабе Вере, она жарила котлеты, по одной котлете нам с Аленой дала, они такие вкусные!

– Ешь картошку с солеными огурчиками и помидорчиками, – сказал ей отец, накладывая в тарелку картофельное пюре.

– Не хочу картошку! Опять эта картошка! Она без молока! – закапризничала дочь. – Мне мама её уже давала. Я хочу котлет, как у бабы Веры, колбаски или окорочков...

Мясо в их семье теперь ели редко. Только вареную колбасу иногда, с женой зарплаты. А полукопченую – по большим праздникам. О мясе и говорить не приходилось. В кармане не было денег даже на транспорт, на сигареты, про остальное даже и думать нечего. Ели, в основном, рыбу, кету – эту кормилицу дальневосточных семей, которую запасали с осени, когда шла на Амуре путина. А когда запас кеты заканчивался или просто для разнообразия, ели куриные окорочка, ножки Буша – самое дешевое теперь мясо. Никитин даже не стал открывать шкафы, где хранились продукты, так как в них не было ничего, кроме манки. А без молока и без масла она невкусная. Март-апрель – самое голодное в их краях время. Все или почти все осенние запасы были уже съедены – все эти заготовки, соленья, варенья, рыба, заготовленные впрок овощи... В холодильнике, в подполье и в кухонных шкафах, что называется, мышь повесилась, картошка, урожай которой нынешней осенью был скуден из-за проливных дождей и которую хранили в подполье, уже заканчивалась. Жене задерживали зарплату уже третий месяц, занимать денег было уже не у кого, так как у тех, у кого можно было одолжить, уже одолжили.

Тут Никитин вспомнил о купленных для нее булочках.

– Ешь картошку, а потом я тебе что-то вкусенькое дам, – пообещал дочери Никитин.

– А что ты мне дашь, папочка?

– А вот съешь картошку, я тебе тогда покажу.

И дочь стала быстро поглощать картофельное пюре.

– С огурчиками ешь...

– Не хочу с огурчиками!

Полина третий год болела бронхиальной астмой, обострявшейся каждой весной, кашляла не переставая, уже не знали, как и чем лечить ее, так как ничего не помогало. В детский садик

она ходила через раз. Едва выздоровев и переступив порог садика, она через два-три дня опять начинала кашлять и температурить. И приходилось ее забирать обратно. Поля была бледна, худа, всегда ела мало, зачастую ее силой приходилось сажать за стол и почти насильно кормить. И нынче она только-только начинала выздоравливать.

– Вот, Поля, я тебе булочек купил с маком. Смотри, какие они вкусные!

Проглотив картофельное пюре, Поля взяла булочку и стала есть, запивать ее чаем.

– А Ваське можно дать? – спросила она.

Под ногами крутился здоровенный кот Васька, держа дрожащий хвост трубой – тоже просил есть.

– Обойдется Васька без булочки.

Но Полина отломил кусочек булочки и бросила его коту, и Васька с аппетитом и громко стал его жевать.

Поля росла еще безмятежно. Ее еще не коснулась та унижительная нищета, которую уже вдоволь испытала их дочь Алена, заканчивавшая в следующем году в июне среднюю школу. Нищета сделал ее замкнутой и необщительной.

Тут как раз вошла Алена, нахмуренная и сердитая.

– Ты чего мать до слез довел? – тихо спросила она. – Ей и так достается, а ты еще смеешь заставлять ее плакать! – с тихой яростью прибавила она.

– Никого я до слез не доводил. Она сама себя доводит, – отвечал Никитин дочери.

– И чего это ты тут свои носки вонючие развесил и башмаки поставил? – вдруг напустилась она на него с той же тихой яростью, заметив его носки и туфли на печке рядом с чистым бельем. – Не видишь, что ли, я тут чистое белье сушиться повесила? Еще потными носками твоими все провоняет! Убирай отсюда!

Она брезгливо дернула плечами и вышла.

Никитин промолчал, ничего не ответил, молча убрал носки и ботинки, перевесил их в другое место. Он промолчал потому, что уже давно чувствовал по ее поведению, что его авторитет мужчины, отца, кормильца, уже упал в глазах дочери. Он знал, что Алена не могла простить ему этой унижительной нищеты, своего старенького пальто, вязаной шапочки, которую она носила всю зиму в то время, когда большинство ее сверстниц носили норковые, лисьи или, на худой конец, из песка; она не могла простить своему отцу многого. Она и словом не обмолвилась о своем недовольстве им, их бедностью – была в мать, какой была та до этого несчастья, – молчаливой, все носившей в себе. Его дочь не могла простить ему многого из того, что теперь старшие школьники и школьницы не прощают своим несостоятельным родителям, платя им, если не откровенным презрением, то, по крайней мере, молчаливым невниманием. Она не могла простить ему того, что они обменяли благоустроенную квартиру на этот дом с земельным участком, «частный сектор», без ванны, без теплого туалета. Они с женой решили, что так выжить им будет легче. Проще было, конечно купить садовый участок, которые теперь продавались за бесценок, но участки нещадно грабили бомжи, да и добираться туда, далеко за город, было накладно из-за дорогого бензина. А тут, обменяв квартиру, они с женой как бы приобрели три в одном: было жилье, пусть без удобств, земельный участок и гараж. И не нужно было платить за квартиру и коммунальные услуги сумасшедших денег, проживание в частном доме почти ничего не стоило, к тому же он умудрялся ещё и приворовывать электроэнергию благодаря скрытым, обходящим счетчик электропроводкам. Алена же, переехав, оказалась оторванной от подруг и от всего того, с чем была связана дружба со сверстниками, а главное тем, что надо было ходить друг к другу в гости. А приглашать к себе Алена стыдилась из-за бедности и неудобств, – словом, многого не могла простить своему отцу его старшая дочь. А тут еще он завел себе женщину на стороне, и она, конечно же, знала, и, естественно, целиком была на стороне матери.

Он знал это и старался ее не трогать.

Отыскав сухие чистые носки, а в шкафчике для обуви – сухие летние туфли, он оделся, вышел во двор, завел машину.

– Папочка ты куда? – выбежала на крыльцо Полина вслед за ним.

– Иди домой, а то простудишься, я скоро приеду. Окорочков тебе куплю и сразу приеду, – говорил дочери Никитин.

– А денежки у тебя есть?

– Сейчас поеду и заработаю.

– Только много-много купи окорочков, чтобы Чернышу и Ваське хватило. Ладно?

Под ногами крутился дворовый пес Черныш – тощий до такой степени, что у него просвечивали ребра.

– Ладно-ладно...

Он поцеловал дочь, взял ее на руки и понес в дом. И вдруг Полина огорошила его вопросом:

– Папочка, а ты не уйдешь от нас к другой тётеньке?

– К какой ещё тётеньке? – опешил он.

– Мама говорит, что ты ночью к другой тетеньке уходишь от нас, когда я сплю.

«Зачем жена отравляет ребёнку мысли? – с досадой подумалось ему. – Вот дура-то ещё!»

– Глупости. Никакой тётеньки нет, мама всё придумала.

– Правда-правда?

– Правда-правда, доченька!

«Вернусь, поговорю с женой. Ребёнку отравлять душу, прикрываться им – последнее дело для бабы», – решил он.

– А ты будешь, папочка, сегодня с мамой в одной кроватке спать? – снова огорошила его Полина.

– Я сплю на кухне, доченька, потому что кашляю, и всем мешаю спать.

– И маме тоже?

– И маме, и Алене, и тебе тоже. А когда я выздоровею, то обязательно буду с мамой в одной кроватке спать.

– Правда-правда?

– Правда-правда!

«Она все понимает! Всё! – мучился Никитин от наивных откровений дочери. – О, дети, дети! А ведь приходится врать ей бессовестным образом!»

Он вернулся к машине, завел ее и выехал со двора. До чертиков хотелось курить. В бардачке он нашел несколько окурков, заранее недокуренных, которые он откладывал на тот случай, если вдруг нечего будет курить, и не на что купить курево.

Слава богу, в баке было литров пять бензина, да в багажнике – целая канистра, которую он обменял с соседом на дрова.

Зарабатывал свободным таксованием в эти весенние дни он теперь нечасто. На старом, разбитом «Жигулёнке», какой был у него, лучше было не выезжать, себе дороже, добьешь машину, особенно в такую распутицу, когда колдобина на колдобине. Да и в его неказистую «тачку» садились крайне неохотно.

Никитин всегда поджидал пассажиров на центральной площади города – Metallургов, где и без него стояли несколько таксомоторов. С некоторых пор его оттуда стали вытеснять так называемые «свои», наглые, нахрапистые мужики, объявившие эту стоянку своей вотчиной. А Никитин не входил в их бригаду.

Он подъехал на стоянку и пристроил автомобиль последним в очереди – пятым или шестым. Стал ждать.

Спустя минут пять к нему подошли двое.

– Ты опять здесь? Давай сваливай отсюда! – заговорил один из них, мужик в картузе с лакированным козырьком, в потертой расстегнутой кожаной куртке, с большим животом, нависающим над поясным ремнем.

Он был в этой компании кем-то вроде бригадира.

Никитин опустил боковое стекло.

– С чего бы это я сваливал? Я стоял здесь и буду стоять! – твердо заявил он.

– Ты не будешь здесь стоять! Вали, давай! Мало места, что ли? Нас здесь и без тебя хватает!

Никитин решил ни за что не сдаваться. Он, подняв стекло, сделал вид, что не слышит.

– Сваливай, тебе говорят! Ну?! – Толстяк стукнул кулаком по боковому стеклу. – Без колес хочешь остаться?

Никитин снова опустил стекло и сказал:

– Слушай ты, как тебя там... Ты лучше ко мне не приставай, а то я уже на взводе. Пожа- леешь, если я взорвусь. Я здесь стоял, когда вас ещё в помине не было.

– Че-го-о? Нет, ты посмотри на него? Сучонок, совсем оборзел! Понятия никакого!

Не успел Никитин опомниться, как ветровое стекло оказалось забрызганным снегом, смешанным с грязью.

Никитин понял, что у него теперь нет другого выхода. От одной только мысли, что его вытесняют из жизни, отодвигают на самую обочину, где возможностей для выживания еще меньше, его бросало то в дрожь, то в испарину.

Он сжал зубы и спокойно вылез из машины. Обошел ее, открыл багажник, достал кани- стру, отвинтил пробку у пятилитровой пластиковой канистры, вытащил канистру из багажника и направился к машине толстяка, держа канистру за спиной. Постучал в стекло. А когда тол- стяк опустил стекло, плеснул к нему в кабину бензин, затем облил капот и ветровое стекло.

Толстопуз, словно ошпаренный таракан, выскочил из своей «японки».

– Ты чего, мудака? Охерел, что ли?! – закричал он на Никитина.

Никитин поставил канистру на асфальт и достал из кармана куртки зажигалку.

– Значит, война, да? Война? Давай тогда воевать! Я из тебя, сука, живой факел сейчас сделаю! Я стоял здесь, и буду стоять, ты понял? Заруби себе на носу и другим объясни! Запа- лить тебя, козла?

Никитин сделал шаг в его сторону, выставив руку с зажигалкой, толстопуз в страхе шарахнулся от него.

– Смотри, козлина, ты меня достанешь! – пригрозил толстяку Никитин.

– Да ты че, ты че? Да ты... ты... Ты че наделал? Че ты наделал, а? – всё вопрошал толсто- пуз, оглядывая себя и как бы не веря случившемуся.

– Вот то и наделал! И запомни, мне терять нечего! Война так война, до победного! Мне ни свою жизнь, ни свою старую тачку не жалко! Будете приставать, я сожгу вас со всеми потро- хаами!

Толстопуз сел в свою «японку» и рванул со стоянки так, что ошметки грязного снега вылетели из-под колес его «Тойоты».

Никитина оставили в покое.

«Странно, откуда во мне это ожесточение? – думал он, сидя в кабине. – Я даже словами такими раньше не разговаривал, и тона такого во мне никогда не было. Откуда это во мне взялось?»

Он ожесточился от неудач, от своего безработного положения, от постоянного бездене- жья, а ещё, быть может, оттого, что его оттесняли более молодые, сильные и наглые куда-то на обочину жизни, где возможностей выживания было ещё меньше. Он заметил за собой это ожесточение и говорил себе: «Вот он волчий мир с его волчьими законами, а в этом мире рас- слабляться нельзя».

Это ожесточение он видел и в других людях, видел ожесточившихся людей в общественном транспорте, в очередях, на улицах. По малейшему, ничтожному поводу вспыхивали яростные, дикие перепалки, готовые превратиться в мордобой. Месяцами, годами копившаяся в людях неудовлетворенность, обида, недовольство жизнью, притеснение, ущемление, обман, колоссальные очереди превращали обычных, добродушных и мирных людей в цепных собак.

И странное дело! За восемь-десять лет этой передрыги из жизни совсем не исчезли очереди. Очередь являлась еще более существенной чертой бытия, чем в советские времена. Теперь не было очередей за колбасой, мебелью, билетом на самолет, за каким-нибудь другим дефицитом, но совершенно дикие очереди были за субсидиями, на бирже труда, в земельные отделы и комитеты, к нотариусам, в какие-нибудь конторы за какими-нибудь справками, в отдел юстиции на оформление собственности. Устройство жизни в России неизбежно сводится к бутылочному горлышку.

И невеселые мысли все одолевали его. И он думал о том, как же так вышло, что из благополучной семьи со скромным, но достойным достатком его семья в пять лет скатилась сначала к бедности, а теперь вот к самой отчаянной нищете? Дальше уже оставалось только идти на паперть с протянутой рукой. Они с женой уже пятый год не могли купить себе обновы, их покупали только детям. Как так вышло? Где он упустил? Может, нужно было уйти с завода раньше? Ведь видно было, что завод заваливается, гибнет, но он, Никитин, держался и верил в свой завод до конца. И не он один был такой, кто верил и надеялся на лучшее. Он любил свою работу, свой цех, свой коллектив. Да и куда он мог пойти, когда кругом одни сокращения и увольнения? Может, нужно было податься в коммерцию, стать «челноком», как десятки его бывших сослуживцев? Но это было чуждо и противно его духу – торговать ему, рабочему человеку, инженеру. И вот он никуда не ринулся, не открыл свое торговое дело, не ушел вовремя с завода и дождался, в конце концов, увольнения. Что ж, упустил он это время, когда можно было что-то изменить в своей жизни и в жизни семьи, а теперь нищета так придавила, что хоть караул кричи. Сейчас, кажется, вплавь бы бросился в бурлящий поток, пополз бы, лишь бы не сдаться, не упасть окончательно. «Цепляться, цепляться, зубами держаться, царапаться, но не падать! – повторял он себе. – Не сдаваться, ни за что не сдаваться!» А сколько уже упали, сдались, спились и доживают свой век чуть ли не под забором! Ещё не старые, но выкошенные, как косой, новым строем жизни, не сумевшие приспособиться к этому порядку. А скольких сверстников или чуть постарше он уже похоронил!

И вот так оно вышло, что он не попал в струю, там опоздал, здесь не успел, не перестроился и выброшен теперь на обочину. А с обочины – да прямо в кювет. Даже машину – последнюю кормилицу – и ту не успел поменять или капитально отремонтировать. «Жигуленок» года три выручал его крепко. Но вырученных денег хватало только на еду да на мелкий ремонт. А вот на крупный ремонт уже надо было изловчиться. А тут ещё таксомоторов, главным образом японских иномарок, развелось больше, чем нищих пассажиров. Наиболее наглые и нахрапистые, горластые мужики, как вот этот толстопуз, застолбили со своими бригадами все хлебные стоянки и не впускали туда чужих. И приходилось отстаивать свое право на выживание отнюдь не мирными средствами.

Удачи в таксовке ему в тот день не было. Выездил он всего-то сорок рублей, сущие копейки, а надо было добыть для Поли мяса. На эти деньги нельзя было купить даже килограмма куриных окорочков.

Рядом с машиной на тротуар сели голуби, как обычно выпрашивая у прохожих еды, и Никитин понял, как и где надо добыть мяса.

Он завел машину и поехал домой.

Оставив машину у ворот, не заходя в дом, Никитин взял в сарае пустой мешок, фонарик, ящик с инструментом, сложил все в багажник. И снова выехал.

Прошлой весной он нанимал двух бомжей, чтобы вскопать огород. Взял две бутылки поддельной дешевой водки, жена сварила прошлогодней картошки, поставила на стол соленые огурцы. Один из бомжей был молодой казах Ахмат. Он рассказывал, как они когда-то в общаге в безденежье добывали на чердаке голубей.

– Заходишь на чердак, а они сидят на балках – видимо-невидимо... Подходишь, резко включаешь фонарик и ослепляешь их по очереди. И все – берешь их руками, голову сворачиваешь и в мешок кладешь... Тощая, правда, птица, но на супец хватает...

Никитин выбрал дом довоенной, сталинской постройки, где по его расчетам был чердак. Поставил во дворе машину, стал обходить подъезды.

Все двери, ведущие на чердак, были с висячими замками. Ему повезло, что в этом доме двери на чердак вела не лестница, упиравшаяся в потолок с люком. А когда окончился пятый, последний этаж, ещё две лестницы в шесть ступенек вводили выше, – и вот он оказался на предчердачной площадке с низким потолком. Пришлось пригнать голову. Он включил фонарь – огромный навесной замок на дверях. Исследовав дверь, он убедился в том, что железные двери у двери болтаются.

Спустившись вниз, он взял в багажнике машины монтировку, снова поднялся наверх, дождался тишины в подъезде, просунул монтировку в щель между петлей и косяком. Усилие – и он отодрал петлю от косяка. Сильно билось сердце, как будто пришел воровать что-то.

Он включил фонарик и двинулся вглубь чердака. Вблизи птиц не было видно. Он продвигался вперед, пригибаясь так, чтобы не удариться о нависающие переплеты балок, хрустел шлак под ногами.

В дальнем конце чердака скопилась птица. Здесь было оконце без стекла, к которому было пристроено некое подобие трапа, вероятно, для работников ЖЭКа или других служб, чтобы выходить на крышу. Было слышно, как, шурша, со звуком «пфрр» вспархивает и садится с одного места на другое место птица. Они сидели на балках, как куры на насесте. Здесь проходили трубы отопления, и ему стало ясно, отчего птица скопилась именно в этом месте – от труб шло тепло.

Никитин навел фонарик на нижнюю балку и приблизился к птицам вплотную. Голуби не шевелились, словно бы парализованные светом.

Он сунул фонарик под мышку, развернул мешок и, одной рукой держа мешок и фонарик, другой рукой стал по очереди брать птицу и складывать ее в мешок. Вспомнил о том, что прежде, как говорил казах, им надо шею свернуть, но и в мешке птица вела себя смирно.

Дома он доставал голубей по одному, сворачивал им шею и бросал в таз. Набралось их больше двадцати штук. Ощипывал он их до поздней ночи, а потом варил суп с рисом и остатками мелкой, прошлогодней картошки.

Ощипанные тушки были такими маленькими, что легко умещались на ладони. «Добытчик, – подумал он про себя с усмешкой. – Только и остается теперь, что голубей или ворон жрать».

Только сварив похлебку, он лег спать. А оставшиеся тушки положил в морозилку.

Ночью, как обычно все эти дни, Никитина опять одолел простудный кашель. Он начался почему-то ночью, когда он ложился спать. Наверное, в положении лежа что-то происходило с легкими или с бронхами, приступы кашля так и рвались из его груди, – его буквально рвало от кашля. Этот его кашель будил всех, не давал домашним спать, за стенкой скрипела диваном Алена и недовольно, сердито вздыхала – вероятно, проснувшись, не могла уснуть. Не могла спать и жена.

Никитин и сегодня после того, как справился с голубями и сварил похлебку, достал из кладовки старенький тюфяк, бросил его в кухню и лег. Но уснуть не мог.

Вскоре вошла жена, как обычно в эти дни, в ночной рубашке, с распущенными волосами, с поджатыми губами и скорбным лицом. Положила на столик таблетки, обходя его взглядом, проговорила:

– На, выпей... А бронхолитин почему не пьешь?

– Он мне не помогает.

– Он сразу не помогает, его надо долго пить.

«Башмаки бы мне надо поменять, вот и вся проблема», – думал Никитин.

Но таблетки проглотил, а потомпил бронхолитин – приторно-сладкий сироп. А затем по жениному рецептупил ещё противную жидкость из смешанных трав, нагретую на плите, растворяя в ней половину чайной ложки свиного сала.

Уснул он уже под утро.

– Папочка, – удивлялась Полина, когда он проснулся. – А почему окорочка такие маленькие?

– Это, Поля, не окорочка, это цыплятки. Маленькие такие цыплятки.

– Цыплятки? – озадачилась дочь. – А какие цыплятки?

– Цыплятки – это детки курочек. У курочек есть детки, которые из яиц вылупливаются, их цыплятками зовут, пока они маленькие. Ты же видела их в своих книжках.

– А где ты их взял?

– Купил на базаре.

– А почему ты не купил окорочков?

– На окорочка денег не хватило. А цыплятки тоже вкусные. Ешь супчик с цыплятками.

И ещё два вечера подряд Никитин с фонариком, монтировкой и мешком забирался на тот же чердак, заготавливая «цыпляток» впрок, чтобы хотя бы этого «мяса» хватило на несколько недель. А может, и на месяц. Уж не до жиру.

IV

Познакомились они с Катей немногим более трех месяцев назад на заводской вечеринке перед Новым годом, куда Никитина затащил приятель, Алексей Волохов, с которым Никитин пел когда-то в русском народном хоре при дворце культуры авиазавода. Случилось это после товарищеской выпивки в гараже, в компании бывших сослуживцев, куда Никитина пригласил Алексей прослушать двигатель его «Жигулей». В этом Никитин слыл в своем кругу специалистом. Никитин запомнил этот день на всю жизнь – двадцать седьмое декабря.

– Давай заглянем, а? – говорил приятель, когда они шли мимо дворца, возвращаясь по домам. – Сегодня там, по-моему, праздничный вечер.

– Да ты что? Мы же не одеты, – отговаривался Никитин. – И с деньжатами негусто.

– Ерунда, у меня есть деньги. Я твой должник.

– А что там делать? – недоумевал Никитин, пожимая плечами. – Я уже давно в таких местах не бывал.

– Идем, хоть развеемся немного, – уговаривал приятель, забирая его под руку. – Может, еще кого-нибудь из наших ребят там встретим. Вспомним старые добрые времена.

– Да сколько уж можно вспоминать? Сегодня и так весь вечер вспоминали.

– Ну, тогда идем, вспомним молодость, как дурака мы тут валяли! – настаивал Волохов.

Заводской дворец культуры светился праздничными новогодними огнями, весело бежавшими по его периметру. Над парадным входом, где мигавшие огоньки изображали новогоднюю елку, горели ещё другие огоньки: «С Новым, 1998 годом!» На дворцовой площади светилась разноцветными огнями большая нарядная, живая елка, возле которой был залит каток, и на нем кружилась на коньках детвора, и играла музыка. В больших окнах второго этажа дворца перемигивались разноцветные огни, и оттуда доносилась громкая музыка. И все это так и манило, так и звало к себе на праздник, отдаться во власть предпраздничного, бесшабашного веселья!

И Никитин сдался. Они купили входные билеты и вошли во дворец, сдали верхнюю одежду в гардероб и поднялись на второй этаж. Здесь веселье было уже в разгаре, зал был битком забит. Столики, стоявшие вдоль стен танцевального зала, располагались очень тесно друг к дружке. Свободных мест за ними не было.

– Теснота-то какая! – проговорил Никитин. – Не протолкнешься!

– Пойдем все же и поищем свободные места за столиком. Может, повезет, – предложил приятель.

В поиске свободных мест они продвинулись вперед, в середку зала, пока не увидели за одним из столов два свободных места. Спросив, свободно ли? – и получив утвердительный ответ от одной из женщин, они устроились за столиком на шесть персон, где уже сидели четыре женщины, все немолодые, некрасивые и дурно одетые: либо крикливо, либо в старенькие платья и блузки, купленные ещё в давние, советские времена. Приятель тотчас же направился к барной стойке, чтобы побеспокоиться о выпивке, и вскоре принес две бутылки вина, фужеры, салаты, шоколад, пластиковую бутылку лимонада.

Никитин давно уже не бывал на вечеринках, вообще на торжествах, отвык от многолюдства и шума. Он и сам был дурно одет для таких вечеринок – в свитер и старый пиджачишко, купленные ещё в давнее время, и среди празднично одетых людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Под ногтями у него была грязь от сегодняшней возни с двигателем, и он не смог её вычистить до конца, когда мыл руки в гараже приятеля в тазике с мыльной водой.

Мимо их столика, стоявшего с краю, сновали люди туда-сюда, нечаянно задевали столик или сидевших за ним в проходе женщин. Места у них были очень неудобные, беспокойные,

поэтому эти стулья и пустовали. «Пардон, я, кажется, вас задела!» – извинилась перед Никитиным одна крупная особа, очень уж шедшая не по прямой, а шатавшаяся из стороны в сторону.

Заиграла музыка, и Алексей, толкнув Никитина под локоть с намеком: мол, и ты за столом не засиживайся, отправился приглашать какую-то понравившуюся ему женщину. Никитин тоже хотел развеселиться, как все вокруг, но не мог расслабиться, веселье не шло к нему, он пил, но не пьянел, глядел в толпу и не видел никого, думал о чем-то своем, от чего ещё не могла освободиться голова.

За столиком рядом с ними по левую сторону, он вдруг увидел симпатичную женщину с белокурыми волосами, убранными за спину и заколотыми большим гребнем. Заметив ее, Никитин затем не сводил с нее своего взгляда. Ему казалось, что за столиком сидело самое солнце – такое сияние исходило из ее глаз. А когда Никитин отводил от неё взгляд, его снова, как магнитом, так и тянуло глядеть в ее сторону, на это милое лицо и сияющие глаза, и он невольно поворачивал голову, не сводил до неприличия своего взгляда с этой женщины.

Рядом с нею за столиком, тоже на шесть персон, соседствовали одни женщины, и по тому, что она с ними не общалась, Никитин сделал вывод, что эти женщины – её случайное окружение и что она здесь совершенно одна. Она, казалось, видела, что за нею пристально наблюдает мужчина, но ни одним движением, ни одним жестом не выказала того, что она вызывает такой сильный интерес к себе своего соседа. Ему хотелось подойти к ней, заговорить, пригласить танцевать, но он не решался. «Зачем? – думалось ему. – Пустое все. Через час-другой я и она разойдемся в разные стороны – и все».

Но он, сам не зная почему, не переставая, глядел в ее сторону, и сердце у него сильно колотилось, и даже вспотели ладони от волнения. Он ерзал на стуле, отворачивался от нее, но ненадолго, все равно его неизбежно тянуло глянуть в ту сторону, где сидела белокурая соседка. Он даже удивился своему волнению – в его-то годы да чтобы сердце так билось? Что это с ним? Оно уже давно... очень давно не билось при взгляде на женщину или при мысли о женщине. А тут оно колотилось, как у мальчишки в ожидании первого свидания. И не припомнить, когда это было с ним в последний раз. И это биение сердца как будто бы заглушало все внешние, посторонние, громкие звуки – ничего он не слышал, а ощущал только биение собственного сердца, отдававшееся, казалось, даже в ушах. Его дергали, окликали, тащили за рукав танцевать знакомые и незнакомые женщины и мужчины, подвыпившие и трезвые, которые сидели за их столиком и прочие; тащил за рукав танцевать приятель; что-то ему насмешливо говорили и даже упрекали его женщины, сидевшие с ним за одним столиком, какой он-де нехороший мужчина, потому что ни на кого не обращает внимания в то время, когда вокруг столько женщин, готовых отозваться на мужской к ним интерес. Будь для любой из нас повелителем, казалось, говорили все они, выбери хоть одну из нас, любую, хоть на вечер, хоть на время, хоть на всю жизнь – звали их взгляды, их жесты, их насмешливые или призывные выражения глаз, их колкие или ироничные слова. Одна из них, сидевшая за их столиком всех ближе к нему, была особенно навязчива, ревниво перехватывая его взгляды на белокурую соседку.

– Вы ни о чем не пожалеете, если пойдете со мной, – бормотала она. – Ни о чем... – точно сквозь сон слышал Никитин звук ее голоса.

Спohватившись, Никитин увидел, что она гладит ему руку. Это было уж слишком.

Но Никитин был недвижим, хотя руку свою вытянул из руки соседки. Словно бы бегун на старте, напряженно ожидающий команды «марш», чтобы рвануться вперед, к финишу, так и он весь напрягся, выжидая тот момент, когда заиграет медленная музыка, чтобы встать наконец-то и пригласить белокурую соседку танцевать и, быть может, познакомиться с нею.

– Ты почему не танцуешь? – приставал приятель.

– Да отстань ты! – отмахивался Никитин. – Не мешай мне. Мне и так хорошо.

Невидимыми ниточками, казалось Никитину, он был связан с понравившейся ему женщиной, которую тоже наперебой приглашали танцевать, но она всем возможным кавалерам

отказывала, но необходимо, а с какой-то ласковой улыбкой и продолжала сидеть неподвижно. Быть может, она ждала его? – казалось Никитину. И он лелеял эту мысль, эту надежду и тоже сидел, не обращая ни на кого внимания, как бы для солидарности с нею, как бы говоря ей, что он с ней заодно и что если он будет сегодня танцевать, то только с нею, надо только дождаться подходящей музыки.

И вот наконец-то заиграла медленная музыка. Никитин, точно ему наконец-то скомандовали «марш», вскочил из-за столика и стремительно, страшась, что его опередит кто-то, обошел свой столик и направился к столику своей соседки.

– Разрешите вас пригласить? – склонился он перед белокурой незнакомкой, чувствуя сумасшедшее, оглушительное биение сердца.

Она поднялась, протянула ему руку, и они вошли в круг танцующих людей, держась за руки.

Незнакомка оказалась невысокого роста и едва доставала Никитину до подбородка, хотя на ней были длинные, выше колен, модные, по-видимому, дорогие сапоги на высоких шпильках. Одетая она была в черно-бордовое, в полоску вязаное платье с люриксом, которое красиво облегалo ее стройную фигуру. Шею и грудь украшало дешевое, но красивое разноцветное ожерелье. Танцевали они под новую, набравшую популярность песню группы «Белый орел»:

Как упоительны в России вечера!

Любовь, шампанское, закаты, переулки,

Ах, лето красное, забавы и прогулки!

Как упоительны в России вечера!

– Как вас зовут? – спросил незнакомку Никитин, немного справившись с волнением.

– Катя, – тотчас же просто и охотно отозвалась она.

И, подняв голову, посмотрела на Никитина взглядом своих чистых, ясных глаз, наполненных внутренним светом и какими-то пляшущими смешинками, так показалось Никитину.

– А я Александр. Просто Саша, – ответил он. – Какие у вас ясные, чистые глаза, – совсем преодолев волнение, сразу высказал он ей комплимент, от которого просто не мог удержаться. – Никогда таких глаз не видел. Такие глаза могут быть только у детей или у людей без грехов.

– Вот как? – так же охотно и весело вовлекаясь в разговор, проговорила она. – Может быть. И снова снизу взглянула на него своими чистыми, ясными, сияющими глазами, ещё более поразившими Никитина, когда он увидел их совсем близко продолжительное время.

– Я понимаю, что пошло говорить женщине комплименты про её глаза, если видишь ее впервые.

– Комплименты говорить не пошло, хоть с первой минуты, если только они искренние.

– Но вот не могу удержаться и скажу: я никогда не видел ни у одной женщины таких сияющих глаз, смотрю я в них, а у вас в глазах как будто смешинки прыгают. Честно-честно! Смотреть-смотреть бы и не отрываться!

Комплимент был не из лучших, но ей понравился, потому что сказан был от всего сердца.

– Что ж, смотрите-смотрите и не отрывайтесь! – весело, с улыбкой ответила она.

– Разрешаете?

– Разрешаю!

И тотчас же оба рассмеялись, и Никитин почувствовал себя в её обществе легко, неприужденно, и они стали весело болтать о том, о сём. Танцуя, Никитин старался держать ее за талию или за плечи, чтобы она нечаянно не увидела невычищенную грязь под его ногтями. Но его не праздничный наряд всё же выдал его, потому что она вдруг проговорила с какой-то озорной веселостью:

– А от вас бензином пахнет!

Он пожал плечами.

– Ничего удивительно. Мы с приятелем не собирались никуда, из его гаража шли мимо дворца, и он уговорил меня сюда заглянуть, я вообще-то не ходок по таким вечеринкам, – как бы оправдываясь говорил Никитин.

– А я иногда прихожу сюда на танцевальные вечера, – призналась Катя.

– А почему вы одна?

– Я пришла сюда не знакомиться, просто давно нигде не была, захотелось повеселиться, среди людей потолкаться, а то засиделась со своими домашними проблемами.

– Одной повеселиться? Женщины редко куда ходят одни, особенно в увеселительные заведения.

– Это правда, мы договорились с приятельницей, а она почему-то не пришла.

– Наверное, муж не отпустил.

– Может быть.

И затем, когда окончился танец, он уже не отпускал ее от себя, в перерывах между танцами держал ее за руку, и все время танцевал только с ней одной и, танцуя, все внимательнее разглядывал ее. И она нравилась ему всё больше и больше. Никитин не постеснялся приставить стул к ее столу, спросив разрешения, чтобы раз и навсегда отвадить от нее возможных новых претендентов.

У Кати были тонкие руки, узкие плечи, хрупкая фигура, высокая грудь, тело легкое и пластичное, отзывчивое на его танцевальные движения и вождение по залу. Лицо у нее было очень подвижное, с разнообразной мимикой, с милыми гримасками. Улыбалась она часто, открыто, – при этом морщинки под глазами расходились лучиками к вискам. Наверное, от частой мимики и улыбки вокруг ее рта сложились две складочки, а на лбу – две продольные морщинки вдоль бровей. И ее тонкие руки, и узкие плечи, и хрупкая фигура, и легкое, пластичное тело, и, как вскоре оказалось, ещё и заразительный смех, – всё в ней казалось Никитину необычайно женственным, волнующим его до трепета. И ещё в ней было легкое, естественное, не наигранное кокетство и что-то ещё очень-очень знакомое, даже как бы театральное. Но что именно знакомое и что как бы театральное – он так и не мог пока понять. Но главный секрет и привлекательность этой женщины для Никитина была в ее в ласковой улыбке и в сияющих глазах, чем она с первых же минут его обворожила, так что у него весь вечер сладко и в то же время тревожно и мучительно сжималось сердце.

Они ушли вместе, не дождавшись конца вечеринки, и он пошёл провожать её. Спустились на первый этаж, оделись в гардеробе.

На дворе падал легкий снежок, был небольшой морозец, без ветра. И легко было идти по улицам под этот снежок, когда не сбивает с ног ветер и не давит предновогодний мороз. Никитину неудержимо хотелось говорить о ней.

– Пятьдесят лет почти прожил и могу сказать только одно сейчас: мне никогда не попадались в жизни такие женщины, как вы, – признался он.

– Какие это такие? – кокетливо спросила она.

– Ну, вот такие, как вы, озорные, веселые и милые... С такими вот глазищами!

– А вы много знали в жизни женщин? – продолжала слегка и не назойливо кокетничать она.

– Ну, были, конечно, женщины, я ведь не молоденький, и в отличие от вас с большими грехами и с маленькими грешками.

Оба весело рассмеялись.

– Притом я из самодеятельности, пел в русском народном хоре во дворце, а там много было женщин всяких и разных, грешных и безгрешных. Даже в Москву ездили, по ЦТ нас показывали.

– Вы пели в хоре? А в каком дворце? – с удивлением спросила она и даже остановилась на тротуаре.

– Да вот в этом самом, где мы с вами только что были, – ответил он.

– Так и я в этом дворце много лет в народном драмтеатре занималась. Молодость моя здесь прошла.

– Вот тебе раз! – Теперь уже настал черед Никитина удивиться. – Ходили годами в один дворец, а так и не встретились?

– Наверное, не судьба, – ответила она.

Почему ты мне встретила
Милая, нежная?
В те года мои далекие,
В те года вешние?

Начал петь он шуточно строчки известной песни, но, пропев первые четыре строчки, затем запел с волнением, с чувством, охваченный уже этим чувством к «милрой и нежной женщине», да так его захватило пение, что сам почувствовал, как слезы выступили на глазах. Только вот возрастом они с «милрой женщиной» не были так уж далеки друг от друга, не так, как в известной песне. Катя глядела на него ласково, и глаза ее смеялись, и казалось, что они давно-давно знают друг друга. На Никитина, когда он пел, оглядывались прохожие, потому как он шел спиной вперед, чтобы глядеть на нее. Но он не замечал ничего.

– У вас хороший баритон, – похвалила она его.

– Да, было дело, и сейчас бы ещё пел, но во дворце уже никто не поет. А как ваш театр, живет?

– Нет, все заглохло. Не знаю, почему... Люди другие стали, заботы, нужда одолели всех... Я бы сейчас вернулась в театр, скучно жить без большого увлечения, такая радость была в жизни.

«Вот откуда в ней это не наигранное кокетство, эти повадки актрисы – из ее увлечения театром осталось», – подумалось Никитину.

Затем, шагая рядом, они некоторое время молчали, как бы соединенные и сближенные друг с другом общим участием в прошлой заводской самодеятельности. Словно у них было общее прошлое, милое, счастливое прошлое, которое связывало и сближало их теперь. И, наверное, оттого, что они играли и пели под крышей родного и любимого заводского дворца культуры, ходили рядом, хотя и незнанные, не знакомые друг другом, они как бы стали ещё ближе друг другу за это короткое время, словно бы потерявшие друг друга хорошие родственники, которые после долгих лет нашли, наконец-то, друг друга.

И сближало их ещё и то, что у них, как выяснилось, оказалось немало общих знакомых из мира искусства, из дворцовой самодеятельности, о которых они по ходу разговора вспоминали...

– А вы до этой передряги чем занимались? – поинтересовался Никитин.

– Во дворце культуры «Алмаз» работала, при заводе «Амурлитмаш», кружки вела, мероприятия организовывала, сама в самодеятельности участвовала.

– Значит вы штатная артистка?

– Ну, какая я штатная артистка, скорее, заштатная... Просто любила свою работу. Культпросветучилище в Биробиджане закончила, и сюда приехала по распределению.

Никитину хотелось спросить ее, чем она теперь занимается, но он понял вовремя, что если она не рассказала об этом сейчас, значит, не считает нужным.

– А вы чем занимались? – спросила она.

– На судостроительном работал инженером-технологом.

И он замолчал, и она тоже. И оба как-то, не сговариваясь, обходили разговор о том, кто из них теперь чем занимается. Оба деликатно не решались говорить и расспрашивать друг

друга о настоящем, словно бы оба не считали свою настоящую жизнь достойной рассказа или хотя бы интереса. Или словно бы они волею судьбы из прошлой «настоящей» жизни оказались временно в жизни ненастоящей, которую оба не любили и которую нужно было переждать или перетерпеть. И ни он, ни она не трогали эту тему, деликатно обходили ее. Никитину тем более не о чем было рассказывать. И он догадывался о том, что и ей тоже не хочется говорить об этом.

Зато весело и много говорили о том, как хорошо было в прежние годы, жили-не тужили, без забот и страха за будущее, какая во дворце была прекрасная самодеятельность, какие таланты, какие цеховые вечера! Она слушала его и даже когда не улыбалась и не кокетничала, глаза её светились и смеялись.

Вышли на проспект Победы, к магазину «Орленок», где были торговые ряды местного рынка.

– А вот здесь я работаю, – вдруг сказала Катя. И остановилась.

– Где? – спросил Никитин.

– А вот здесь, на этом рынке. Торгую разными тряпками, обувью.

– Вам приходится челночить?

– Приходится. Другой работы нет.

– Стоите в такой мороз на улице, да ещё с ветерком? Вам не позавидуешь.

– А куда деваться? Не голодать же.

– Дела-то идут?

– Какие уж тут дела? Так, выживаем потихоньку.

– Сейчас многие взялись челночить, и мои знакомые тоже. Некоторые хорошо поднялись, разбогатели, а я вот не поддался поветрию, выживаю по-другому.

Помолчали, а затем двинулись дальше. Теперь уже Никитину как бы надлежало в ответ что-то сказать о своей работе, раз он сам проговорился о том, что он «выживает по-другому». Но он отмолчался. Похвастаться ему было нечем, а признаться ей в том, как он выживает, а тем более в том, что он безработный, у него духу не хватило.

Незаметно вошли во двор, состоящий из трех домов, поставленных буквой П.

– Ну, вот я и пришла, вот мой дом...

Она указала рукой на среднюю девятиэтажку.

Никитину не хотелось, чтобы она уходила, он был бы рад побыть с ней ещё рядом. Он хотел ей предложить ещё прогуляться, но не решился. Только сказал:

– Катя, я очень не хочу, чтобы вы уходили сейчас.

И снова это прозвучало почти как признание, и от этого вышло неловкое молчание, оказавшееся продолжительным. Она первая нарушила его нерешительным вопросом:

– Ну, я пойду, да?

Нужно было ещё что-то сказать, ещё как-то задержать её, но Никитин не нашел, как и чем ее задержать, тем более он видел, что она озябла.

Вошли в крайний с правой стороны подъезд, вонючий от запахов из мусоропровода, взошли по четырем ступенькам на лестничную площадку, к лифту. Постояли.

– Вы замужем? – задал Никитин ей главный вопрос, который уже мучил его всё это время.

И, ожидая ответа, снова почувствовал оглушительное биение сердца. Хотя зачем ему это надо было, он не мог бы сказать. Он, женатый человек, не имел никаких намерений разводиться с женой.

– С мужем в разводе, но живем в одной квартире, – просто ответила она.

С ее лица сошла улыбка, глаза перестали сиять, и он, кажется, впервые за этот вечер увидел её лицо грустным. Но и это выражение лица теперь показалось Никитину тоже милым и прекрасным.

– С мужем и с детьми, – вздохнув, добавила она. – Муж не работает, пьет, работу не ищет, дети взрослые, тоже не работают, все на моей шее сидят.

Она грустно усмехнулась, но тут же улыбнулась, отогнав свою грусть.

– Неужели мужа таких женщин ещё могут пить и не работать?

– Наверное, могут. – Она пожала плечами.

– А кто ваш муж? – отважился спросить Никитин, сам не зная зачем.

– Мой муж... – Катя снова грустно усмехнулась. – На авиационном заводе работал. Вы должны помнить его, он тоже начинал петь в вашем русском хоре, но бросил. А какой был шикарный баритон!

– А как его фамилия?

– Решетов. Валера Решетов. И я ещё до сих пор Решетова, – прибавила она.

– Валера Решетов – ваш бывший муж? – удивился Никитин. – Я помню такого. Как же тесен наш мир!

– Я сама привела его в хор, чтобы он полюбил самодеятельность, почувствовал, что такое коллектив, вообще проникся духом прекрасной дворцовой внутренней жизни, какой я сама жила. Чтобы он не ревновал, а то замучил меня своей ревностью. Но он – самовлюбленный пингвин, высокомерный, волк-одиночка. Сказал, что ему петь в хоре – это ниже его мужского достоинства. Он любил выделяться, быть первым, на виду, а тут не выделишься...

Никитин вспомнил этого Решетова. Это был хмурый, неулыбчивый, заносчивый мужик высокого роста и богатырского телосложения. Он посещал хор не более двух месяцев, а потом куда-то исчез. У него был редчайшей по красоте, по тембровой окраске баритон. Руководитель хора нарадоваться на него не мог, когда он появился в хоре, и сватал его на басовые партии, так как прирожденные басы в хорах вообще редкость, штучные люди.

– Как же тесен наш мир! – снова проговорил Никитин. – Оказывается, этот Решетов был вашим мужем!

– А вы женаты? – вдруг спросила она, но тут же прибавила, махнув рукой: – Хотя можете не отвечать, я и так знаю, что вы скажете.

– Что же я скажу?

– Не женат, разведен или не живу вместе с женой, что-то в этом роде. Все мужчины так говорят.

– А вот и не так. Я женат, и у меня две дочери, младшей шесть лет.

– Я с женатыми мужчинами не связываюсь, – проговорила Катя.

И сразу же наступило неловкое, отчуждающее молчание. Тут только при свете яркой лампы на лестничной площадке Никитин разглядел, какого цвета у нее глаза: они были серо-зеленые. «Милая, какая же ты милая! – думал Никитин о ней, и сердце его билось сильно, сладко, но мучительно и тревожно. – Утонуть бы в твоих глазищах!»

У него было сильное желание поцеловать ее, прижать ее к себе, но он сдержал себя. Это было бы некстати и неуместно.

– Ну... я пойду? – полувопросительно проговорила она, словно бы спрашивала у него: можно ли уйти? – И нажала кнопку лифта.

И тотчас же лифт загремел, заскрежетал, спускаясь вниз с верхних этажей. Вот спустился вниз, раздвинулись его узкие створки...

– Ну, до свидания? – проговорила она так же полувопросительно и протянула ему тонкую, узкую ладонь.

Он взял ее ладонь и задержал в своей, не отпуская. И она снова, как во дворце, как и во весь этот вечер, прямо взглянула на него долгим взглядом своих ясных, чистых, сияющих глаз, так что у Никитина мучительно сжалось сердце от одной только мысли: она сейчас уйдет, и он её больше не увидит. Никогда не увидит! А ему не хотелось отпускать её, а хотелось неотрывно глядеть в её глаза, видеть это милое лицо с ласковой улыбкой... Хотелось просто стоять рядом с ней и испытывать радость и счастье от одного ее присутствия.

Она осторожно высвободила свою ладонь из его ладони, – он стоял, как замороженный, – нажала кнопку лифта, который снова распахнул створки. Затем шагнула в лифт, развернулась лицом к нему. Секунда-другая-пятая, – они как бы прощально смотрели друг на друга...

– Катя! – вдруг спохватился Никитин и сделал шаг к ней, но тут створки закрылись, и лифт потянулся наверх. – Катя, я вас найду! – крикнул он, запоздало стукнув по лифтовым створкам. – Я вас обязательно найду!

Возвращаясь домой, он думал: «Какое сокровище эта женщина! Настоящее сокровище! Только вот где оно так долго пряталось? И просто удивительно, что она одна. Неужели никто не видит этого сокровища?»

И ещё ему думалось: вот встретишь женщину, встретишь, наверное, раз в жизни, так, чтобы она тебя сразу поразила, сразу вошла в твою душу. И так тепло на душе, так весело, счастливо, окрыленно! Он давно... очень давно не помнил, чтобы с ним было такое.

И мысль о любви, о которой он уже не смел думать и мечтать, вдруг остро пронзила его. Он не мог забыть ее глаз, ее белокурых волос, ласковой улыбки, ее милого кокетства... И было так странно и досадно, что он никогда не встречал ее в заводском поселке, хотя здесь двум людям не разойтись. Где же они разминулись? Но ещё страннее и досаднее было то, что он никогда не встречал ее и во дворце, на смотрах, на вечеринках, общих праздниках, и ему вообще казалось, что он никогда не встречал подобных женщин, они как-то обходили его стороной, ходили где-то мимо... Хотя что об этом жалеть? Уже поздно.

Но все же Никитину было горько оттого, что ему уже вот-вот пятьдесят стукнет, а любовь тоже как-то прошла-пробежала стороной, в спину уже дышит старость, толкает туда всё дальше и дальше, в страну неведомую и страшную, откуда возврата нет.

Дома он отгонял мысли о ней и её образ, как наваждение, утешая и успокаивая себя. «Это хорошо, что когда-то давно мы разминулись и не встретились, – думал он. – Ещё неизвестно, что бы тогда, в те времена было. А теперь у меня две прекрасные дочери. Это называется – не судьба, и нечего на нее сетовать. Пройдет, всё пройдет! Завтра я её забуду! Так, минутная блажь принеслась в голову, любви мне, видите ли, захотелось. А что из этого выйдет? Ничего не выйдет. «Я вас найду! Обязательно найду!» – передразнил он себя, вспомнив свои последние слова. Ну, найдёт ее – и что дальше? У него теперь семья, жена, дети, нет работы, постоянного заработка, и проклятая нужда который уже год душит и душит его со всех сторон. Какая там к черту любовь!»

Но минутная «блажь» не проходила, не истаивала, и ночами он долго не мог уснуть, растревоженный этой женщиной и охваченный совершенными новыми чувствами, этой самой «блажью», – о любви, о милой женщине, о счастье, о бьющемся от любви сердце, о сияющих глазах при виде любимой женщины, и о её сияющих глазах, о счастье спать с любимой в одной кровати, обнимать ее, чувствовать в постели живую женскую плоть, а не холоднокровную, бесчувственную рыбу. Словно бы эти мысли и чувства к пятидесяти годам угасают, уплывают вдаль со старением, с течением времени, зарастают семейными заботами, добычей пропитания, бытом и дразгами... и прочим, прочим, мелким, случайным и ненужным, а главное... самое главное – любовь и счастье вообще уже не имеют права на существование.

Этих новых мыслей, этой «блажи» давно... очень давно не было ни в его душе, ни в его сердце. Наверное, только в самой первой молодости. А может быть, никогда не было, он уже и не помнил этого.

Несколько ночей он лежал в своей кухоньке на полу с открытыми глазами, заложив руки за голову. «Нет, это всё блажь, блажь, и нечего ей поддаваться! Только поддайся ей, и выпадешь из привычной колеи и забудешь обо всем на свете! – говорил он себе. – Забыть, забыть обо всем!»

Все эти ночи дверь в зал была открыта, и слышно было, как кашляла простуженная Полина, которая снова не ходила в детский сад. Слышно было, как вставала, скрипнув диваном, жена, входила к дочурке, – должно быть трогала ее лоб: не жар ли у неё? Не нужно ли принять срочные меры? Простуда прилипала к девочке легко, быстро, и ничего нельзя было поделаться. Три дня побудет в детском саду – и снова кашель, температура, тревоги, заботы...

Но на четвертый день Никитин все же решил непременно разыскать Катю. Он хотел просто найти её без каких-либо надежд и планов на будущее – очень ему хотелось увидеть ее ещё хоть один раз, ещё раз взглянуть в ее глаза. Да и какие могут быть планы на будущее в его-то положении?

На календаре было тридцатое декабря – день предновогодней суеты, не самый лучший день отвлекаться от предпраздничных хлопот. Но елка в доме уже была давно поставлена и наряжена, скромные подарочки куплены и припрятаны, и к Новогоднему столу уже всё припасено. И Никитин сообразил так: если уж искать Катю, то непременно сегодня, так как перед Новым годом торговля всегда идет хорошо, и она наверняка будет торговать. А после Нового года наступает затишье на долгие дни.

Проспект Победы заводского поселка авиастроителей, где располагался этот стихийный рынок, мимо которого они с Катей проходили в вечер знакомства, был застроен в последние года перестройки девятиэтажными и пятиэтажными домами. Одним своим концом проспект почти выходил на близлежащие сопки, а другим – на пустырь, который выводил на берег Амура. Широкий, распахнутый всем амурским и неамурским ветрам, проспект являлся словно бы проходными воротами для ветров, дующих со всех направлений. А им было где разгуляться на широких просторах проспекта. Ветра продували его зимой, когда жестокий «степняк» задувал из прокаленных стужей забайкальских степей и таких же прокаленных и вымороженных гор и плоскогорий Якутии. Ветры пронизывали проспект, когда задували с противоположной стороны, из «гнилого» угла, с севера или с северо-востока, – это были ветры с Охотского моря или из Арктики, валившие прохожих с ног, приносившие ледяные дожди, ранний снег осенью, вьюги, снегопады и метели. Ветры гуляли по проспекту, как гуляет сквозняк по квартире, где были напрочь выбиты стекла и уберечься от сквозняка было невозможно. А летом ветры гнали с Амура противный, мелкий песок с песчаной амурской отмели посередине реки, который больно сек по щекам, по лбу, по векам...

В тот день, когда Никитин отправился на поиски Кати, задувал с Амура жестокий «степняк» из Забайкалья или из Якутии, стужа стояла лютая, хотя мороз был вроде бы умеренный, градусов двадцать с небольшим.

Никитин, выйдя из автобуса, отправился по рядам, осматривая каждое торговое место. Шел пятый час вечера, уже сгущались сумерки, а темнело в эти дни, по обыкновению, рано. На рыночке, на проспекте Победы, на перекрестной с ним улице Советской, у магазинов, – везде чувствовалась предновогодняя людская суета. Завтра тридцать первое декабря – день нерабочий, субботний, а сегодня день укороченный, и в пятом часу народ повалил из заводских проходных, растекаясь по улицам, площадям, дворам, закоулкам, заполняя магазины, пивные, рынки, увеселительные заведения...

Рынок, где торговала Катя, был небольшой – пять или шесть рядов металлических будок, ларьков, халабуд, прилавков, каких-то торговых «конурок», вплотную приткнувшихся друг к другу, с навесами из брезента от снега и дождей. Выбор скудный, товар почти у всех одинаковых, из одного, как говорится, «котла» – китайского. Львиная доля продавцов женщины – добытчицы и кормилицы семей в это время. Вокруг будок торговали те, кто не хотел платить за место, расставив или разложив товар на картонных коробках или деревянных ящиках.

Он нашел Катю не быстро и узнал ее не сразу, – настолько эта женщина с лицом вроде бы Кати была не похожа на ту женщину, которую он видел во дворце, а потом провожал до дома, стоял затем с ней в ее подъезде и испытывал сильное желание поцеловать её. Теперь перед ним стояла женщина в сером, объемном пуховике, в надвинутой на уши и лоб толстой вязаной шапочке. Раскрасневшаяся от мороза и ветра, с белыми узорами инея на шарфе и на шапочке, с крупинками льда, застрявшими в ресницах, с ладонями, засунутыми в рукава пуховика, она постукивала обутыми в валенки ногами друг о дружку, пытаясь согреться.

Сердце у Никитина дрогнуло. Разве он впервые видел торговцев зимой, на морозе? Нет. Разве сам он не покупал у них что-нибудь? Десятки раз покупал. Но никогда его сердце не разрывалось от жалости, от сочувствия, глядя на торговцев... не разрывалось потому, что за прилавком всегда были чужие, незнакомые люди, а тут она, Катя, стучит валенком о валенок, подпрыгивает, чтобы согреться...

– Катя, – сказал Никитин, подойдя близко к ней. – Вот я вас и нашел.

– А, это вы, Саша! Здравствуйте! – проговорила Катя.

– С наступающим вас Новым годом! – проговорил Никитин.

– Спасибо, и вас также! – ответила она.

Катя попыталась улыбнуться, но на ее задубелом лице вышла какая-то жалкая гримаса вместо улыбки. Никитин заметил это с болью и проговорил:

– Как же вы, бедняжечка, замерзли! Даже вон льдинки у вас на ресницах!

– Есть немножко, – ответила Катя, не переставая постукивать валенками друг о дружку. – Ветер сегодня несносный, даже ноги подмерзли. Лучше было не выходить, да распродать товар нужно, покупатель сегодня денежный.

– Как бы вас согреть чем-нибудь?

– Принесите мне кофе, если вам нетрудно, – попросила Катя. – Его на углу магазина продают.

На углу магазина «Орленок» тетушка – в белом переднике поверх шубы, в валенках и в мужской шапке с кожаным верхом и с опущенными ушами – разливала из большого термоса в пластиковые одноразовые стаканчики сладенькую черную бурду, которая называлась кофе. Стаканчик этой бурды стоил десять рублей. Главным её достоинством было то, что она была горячей.

Никитин осторожно, чтобы не расплескать в руках нужный теперь горячий напиток и не столкнуться с кем-нибудь в этой рыночной толчее, отнес кофе Кате. Она поблагодарила и, выпростав одну руку из рукава, стянув зубами варежку, взяла стаканчик и, даже не присев, так как было негде, стала пить эту спасительную горячую жидкость. Но тут подошли покупатели, мужчина и женщина, пожилые, вероятно, супруги, стали интересоваться товаром, Катя отвечала. Затем женщина попросила Катю показать свитер толстой вязки, который ей приглянулся.

– Вот этот свитер покажите, вот этот, – тыкала она пальцем в понравившийся свитер.

Катя так и не допила свой кофе, поставить его было некуда, и она передала стаканчик Никитину, а затем начала вытаскивать из сумки свитера – один свитер был с синими поперечными полосами, а другой, точно такой же, с черными поперечными полосами.

– Ну, какой тебе нравится? – спросила покупательница мужа.

– Мне всё равно, мать, какой купишь, и то ладно.

– Вот этот черный мне больше нравится, – правда же он лучше синего? – спросила она мнения и Никитина, который как бы должен был одобрить ее выбор.

– Конечно-конечно! – поспешил ответить он.

Пока покупатели осматривали свитер, а потом женщина прикидывала его на мужа по размеру, приставив развернутый свитер к мужниной спине, пока рассчитывались с Катей, и она давала сдачи, – за все это время кофе Кати простыл, и он побежал за новым стаканчиком. А когда он вернулся, торговля у Кати пошла бойчее, покупатели не отходили от ее «халабуды»

и что-то покупали, а он так и стоял с ее стаканчиком в сторонке, ожидая, когда Катя освободится, глядя на то, как Катя рассчитывается с покупателями, дает им сдачи, доставая из глубин уже расстегнутого пуховика кожаную сумочку с замочком, висевшую у нее на поясе.

Торговля окончилась в седьмом часу. После шести вечера рынок резко опустел, словно бы покупателей разом смыло волной. Он помогал Кате снимать с вешалок вещи, освобождать их от «плечиков», а Катя укладывала товар в сумку.

Сумок было две, и обе огромные.

– А сумки куда вы сдаете на хранение? – поинтересовался он.

– Никуда. Домой уносим. Иногда меня с моим грузом подвозят знакомые, – ответила

Катя.

– А когда не подвозят, вы таскаете их с собой каждый день?

Катя рассмеялась.

– Конечно, хоть и не каждый день.

– Туда и обратно?

– Конечно!

– Кто-нибудь помогает?

– Помогать некому, одни только едоки! – весело ответила она.

Некоторых торговков ожидали мужья или друзья, а может, знакомые. Помогали укладываться, носить сумки к автомобилям, – у торговых рядов стояли с десятков автомобилей.

– Катя, ты собираешься или нет? – К Кате подошла ее товарка. – О, да я вижу, у тебя помощник появился! – воскликнула она. – Тебя не надо подвозить?

Катя посмотрела на Никитина.

– Не надо, мы сами на колесах, – ответил он.

– Ну-ну-ну! Тогда мы поехали!

Катина товарка отошла. Он тем временем подогнал свой «жигуленок» к торговым рядам, погрузил сумки на заднее сидение, и они сели в машину, салон которой он предварительно обогрел. В теплой кабине Катя сняла шапочку, встряхнула волосами, расслабленно выдохнула из себя, словно бы все трудное и мучительное сегодня закончилось. Ещё утром ему казалось, что он найдет Катю только для того, чтобы ещё раз, в последний, увидеть ее и немного побыть с ней рядом, но когда она, сидя рядом со ним, сняла шапочку, согрелась, встряхнула волосами, улыбнулась ему своей ласковой улыбкой, сияя глазами, у него снова сладко и мучительно сжалось сердце, и он понял, что так просто это знакомство с Катей для него не кончится, и что он видит ее далеко... далеко не в последний раз.

Спросив его разрешения, Катя повернула к себе зеркало заднего обзора, висевшее перед ними, и стала осматривать свое лицо.

– Господи, страхолюдина-то какая! – проговорила она, трогая пальцами щеки и подбородок. – Лицо задубелое, без косметики. Знала бы, что вы меня будете искать, я бы хоть губы подкрасила.

Он осторожно стронул с места задним ходом и, лавируя между автомобилями, выехал на проспект и сразу же остановился, пережидая красный свет светофора.

– Что же мы теперь будем с вами, Саша, делать? – весело спросила Катя.

– Сегодня или вообще? – так же весело ответил он вопросом на вопрос.

– И сегодня и вообще.

– Для начала отвезем ваши сумки домой.

– Мне ещё в магазин нужно.

– В магазин так в магазин, поедемте, я вас там подожду.

– Какой у меня помощник появился! – проговорила она с легкой иронией. – Надолго ли?

– Жизнь покажет, – ответил он.

Продуктовый магазин – через дорогу. Он подогнал автомобиль к торцу здания, припарковался. Катя вышла из машины и перед тем, как отправиться в магазин, предупредила его:

– Учтите, я уйду не на пять-десять минут, там полно народу, а я ещё ничего к Новому году не закупала.

– Я подожду, у меня время есть.

Он прождал ее сорок пять минут. Катя тащила из магазина четыре полных пакета продуктов, по два в каждой руке. Из одного из них виднелись серебристо-желтые бока мандарин, а из другого – красные бока яблок. Увидев ее, он вышел из автомобиля и помог Кате составить пакеты на пол автомобиля, за передние кресла.

Через две-три минуты въехали в ее двор, он подрулил к ее подъезду. И теперь, когда наступила пора прощаться, он остро почувствовал, что ему страшно не хочется, чтобы эта милая женщина уходила.

– Посидите ещё немного, – попросил он ее.

– Устала очень, идти надо, с ног валяюсь, – проговорила Катя.

Она устало прикрыла глаза, откинувшись на сидении.

– На каком этаже вы живете? – спросил он.

– На последнем, девятом. Три последние окна от угла.

– Катя, я все эти дни думал о вас, – снова заговорил он после некоторого молчания. – Не поверите, ночи не спал. Вы из тех женщин, которых нельзя забыть. Хотя прошло-то всего три дня, а что будет дальше?

Эти его слова снова прозвучали как признание. Она молчала в ответ, и он посмотрел на нее, хотя и не ожидал от нее никаких ответных слов. Она сидела всё так же, откинувшись на сидении, закрыв глаза, только было видно, что ресницы ее дрожат.

Он взял ее ладонь и почувствовал не только трепет своего сердца, но и то, как будто бы ее пальцы отвечали ему робкой взаимностью, несмелой приязнью к нему.

– Что же мы с вами теперь будем делать? – вдруг ожила Катя тем же самым вопросом. – Я себе этого не представляю. Вы женатый человек.

И она посмотрела на него долгим серьезным взглядом, как бы требуя от него ответа.

Но на этот вопрос у него не было ответа. И он молчал какое-то время. Потом нашелся с ответом:

– Катя, мне просто хочется быть рядом с вами. Тем более у вас нет помощников на рынке, вот я вам и буду помогать. Как же вы одна?

– Да уж как-нибудь, – невесело усмехнулась она. – Не первый день, уже привыкла.

– Где вы будете встречать в Новый год? – спросил он ее.

Она пожала плечами.

– Встречу дома, наверное, с детьми...

– Почему «наверное»?

– Если они, конечно, захотят встретить Новый год со мной и с отцом. А то ведь убегут в свои компании.

– И вы останетесь одна?

– Не знаю. Уйду, наверное, какой-нибудь подружке. А что? Вы же, Саша, не можете мне предложить провести Новый год вместе? – проговорила она с иронией.

Он ничего не ответил, и Катя вдруг спешно засобиравшись, надела шапочку, открыла дверцу автомобиля... Он тоже поднялся вслед за нею, вытащил сумки, пакеты и помог ей дотащить и китайские сумки и продуктовые пакеты до лифта. Перед дверкой лифта стояли немного, как и в первый вечер знакомства.

– Ну, я пойду, ладно? – так же полувопросительно проговорила она. – Устала очень.

И снова ему стало грустно и тоскливо оттого, что она уходит, и ему нельзя с ней побыть подольше. Он испытывал сильное, почти нестерпимое желание немедленно поцеловать её, при-

жать к себе, но он снова сдержал себя, тем более, что видел, как устала она, и ей сейчас не до этого.

– Может, до дверей квартиры сумки донести?

– Нет-нет, я там сама справлюсь, спасибо вам, Саша.

Спустился вызванный ею лифт, он погрузил в него сумки и пакеты, спросил:

– Когда вы будете на рынке в следующий раз? – спросил я.

– Не знаю. Ближе к Рождеству, наверное.

– Я найду вас.

Катя ничего не ответила, только неопределенно пожала плечами.

Когда она уехала в лифте, он вернулся к автомобилю, завел его и ещё какое-то время не отъезжал, глядел на три ее окна, в одном из которых, самом крайнем, с балконом, горел яркий свет. Спустя какое-то время загорелся свет в другом окне, крайнем от подъезда. Вероятно, это была кухня. А затем – и в среднем окне.

V

Поднявшись в лифте на свой этаж, подтащив к двери сумки, Катя отперла своим ключом входную железную дверь, громынув железом, вошла в прихожую, втащила сумки, внесла пакеты, составила у стены. Никто её не встретил, никто даже не услышал, как она вошла, не услышал грохота железной двери. В квартире стоял чад от табака, и в комнате слева гремела музыка. «Опять прокурили квартиру!» – с досадой подумала она.

Комната сразу напротив входной двери, чуть наискосок налево, это её комната, крохотулька в десять квадратов. Следующие две комнаты по левую сторону от входной двери – смежные. Дальнюю комнату, самую большую, с лоджией, занимал бывший муж, в ближней, где стоял телевизор, обитали сыновья, старший из которых привел в их семью подружку, и она теперь обитала у них постоянно. Там теперь, судя по громкой музыке, были гости, – оттуда, кроме музыки, слышались смех и громкие голоса. За эти восемь лет после развода с мужем вышло так, что их совместное проживание с взрослыми сыновьями разделилось на три ячейки, разнородных и даже враждебных друг другу – муж, она и дети, жившие каждый сам по себе, каждый в своих углах.

Настроение у нее сразу упало. Хоть домой не приходи совсем! «Уеду... уеду от них от всех! – вдруг мгновенно набежало раздражение. – Уеду куда-нибудь подальше!»

Очень часто, возвратившись с рынка домой вот так же, как сегодня, Катя дома заставляла толпу молодёжи, своих сыновей с их подругами и друзьями. Они пили пиво – любимое теперь занятие молодежи. И это стало уже системой, образом их жизни.

Открылась дверь, – громкая музыка выплеснулась в прихожую вместе с табачным дымом. Из комнаты вышел младший сын, семнадцатилетний Алексей. Увидел мать, спросил:

– Мам, пожарать чего-нибудь принесла?

– А вы разве ничего не сварили?

– Продуктов никаких нет, мам.

– Как нет? Я только позавчера полный холодильник затарила.

– Все съели, мам. У нас сегодня Кирилл с Женей были, потом Лена со своим парнем, а сейчас Дима с Юлей и я с Галей сидим, пиво пьем.

– Гречки бы сварили или кашу рисовую с курицей.

– Мам, мы в обед сварили курицу и съели, всего лишь по кусочку всем хватило.

– Вы, сыночки мои дорогие, обнаглели без конца и без края. А я что, у вас добытчица, да? Вы два здоровых парня сидите на моей шее вместе с вашим папашей и каждый день спрашиваете, что я вам принесла поесть! А о обо мне вы подумали, что я могу прийти голодная?

– Мам, ну что ты сразу с порога начинаешь канючить?

– Где отец?

– Пьяный спит в своей комнате.

– Почему вы опять накурили в квартире? – с раздражением спросила она, проходя в кухню, а затем открывая дверь в уборную.

– Мам, это не мы, а батя. Мы в своей комнате курим.

– А из вашей комнаты дым не идет в другие комнаты? Я просила вас только об одном, чтобы курили на балконе или на лоджии, в коридоре, наконец! Неужели это так трудно? А в уборной-то почему дым?

– Мам, это не мы, это батя.

– Уеду я от вас! Уеду! Устала от вас, бездельников, нерях, эгоистов!

– Мам, ну ты опять завела свою старую песню?

Вышел из комнаты старший сын Димка. Наверное, услышал разговор в прихожей и догадался, что пришла мать.

– Дима, что же это вы? Накурили в квартире, в туалете, как вам не стыдно! Я же вас всех просила не курить в квартире!

– Мам, это не мы! Это папаша.

– Я даже не хочу слышать никаких оправданий! А зачем прокурили зал?

– Это, мам, наша комната.

– Здесь нет ничьих комнат, здесь всё общее! – закричала она. – А там, между прочим, стоит телевизор, это вам известно, и я, между прочим, его смотрю. А из зала дым просачивается по всей квартире!

– Купи себе, мам, новый телевизор.

– Что-о? Это вы купите себе новый телевизор! А меня и этот устраивает!

– Ну, о чем ты говоришь, мам, ты же знаешь, что у нас нет денег.

Сразу же подумала о том, что вот только пришла домой, а радости нет – сразу напряжение, досада, дикий эгоизм сыновей, от которых нет ни радости, ни помощи, а только одни проблемы. Даже дом уже как бы не свой дом, не крепость, защищающая от разных жизненных невзгод. Ее материнская деликатность и прежде выходила ей боком в семье, а теперь и подавно. Деликатничать надо в меру, да и с теми, кто понимает и ценит, что с тобой обходятся деликатно, уважают твои права, твои чувства, твою территорию, личное твоё пространство. А ей из-за ее деликатности совсем сели на шею и бывший муж и дети со своими подружками и друзьями.

Она прошла в свою комнату, затащила сумки. Тут увидела, что товар, хранившийся в баулах дома в углу, находится ненадлежащим образом, не так, каким она его оставила, уходя на рынок. Опять лазили в сумки без спросу и что-то наверняка растащили, наверняка самое ходовое и денежное.

Так и есть! Нет коричневого женского кожаного плаща с подстежкой из последней партии и кожаной куртки, – эту, конечно же, Алешка припрятал. Он после окончания средней школы ничего не делал, не хотел учиться и никуда не пытался трудоустроиться, ждал призыва в армию.

Это был самый больной вопрос в ее деле – на рынке не предусмотрены были складские помещения, приходилось товар хранить дома, а он растаскивался домашними. То муж продавал что-то за бесценок и пропивал, то младший сын продавал и тратил на развлечения, а может быть, и прокуривал. А то старшенький сын дарил своей подружке или запасались какой-нибудь вещичкой впрок. Мамка поедет в Китай, считали они, ещё привезет, и даже ещё лучше привезет.

До поры до времени она терпела, но сейчас терпение ее лопнуло. Выходит, что у нее теперь совсем нет дома! Хоть запирай свою комнату на ключ!

Она открыла дверь в комнату сыновей – здесь стоял дым коромыслом, за столом сидела компания из шести человек, а на столе – пластиковые бутылки с пивом и с остатками еды. И гремела невыносимо музыка. Она подошла и выдернула шнур из розетки у музыкальной приставки.

– Я вас просила не растаскивать мой товар! Я вас просила, чтобы вы дали мне подняться, а вам наплевать на всё! – закричала она на сыновей. – Кто из вас снова шарился по моим сумкам?

– Мам, ну что ты жадничаешь? Мы взяли каждый себе по вещичке, ну не убудет же у тебя... Лёха взял куртку, а я для Юли плащ взял, он ей в самый раз, – ответил ей старший сын.

– Вон! – вдруг закричала она в ярости. – Все вон!! Три мужика в доме, а никто из вас не принес в дом ни крошки! Я у вас что, добытчица? Одна на всю вашу кофлу?

– Мам ты чё? Мам? – опешил старший сын. – Ты чё нас позоришь?

– С катушек мамка съехала, – сделал вывод младшенький.

– Чего?! – свирепела она. – А ты не знаешь, чего? Вон, говорю, все!

В какой-то момент жизни, совсем недавний, она стала презирать и недолюбливать старшего сына за его слабость, бесхарактерность, за отсутствие вкуса в выборе подружек, за неумение и даже нежелание избавляться от прилипчивых, дурных, растленных, порочных девок, вроде этой Юлии, расплодившихся в это десятилетие нового режима, как плодятся мухи осенью на помойке, если на денек-другой припечет солнце, – девок, роем прилипавших к рослому, как его отец, красивому, веселому сыну. Она ненавидела эту Юлию, курящую дворовую потаскушку, тощую, бледную поганку, эту выпивоху, которая из своей пьющей, драчливой семейки прибилась к их семье; ненавидела эту приживалку, которая уже несколько лет жила в их семье и отравляла ей, Кате, жизнь своим присутствием.

– Привел ее, вот и корми, содержи ее! Покупай ей всё, что хочешь! – кричала она. – Я не собираюсь ещё и твою потаскушку содержать! – Она уже не стеснялась присутствия Юлии, поборов свою деликатность. Говорила в глаза то, что думала.

– Тетя Катя, почему вы меня оскорбляете? – возмутилась Юлия.

– Ты не смеешь её оскорблять! Я люблю ее и женюсь на ней! – закричал на мать сын, вставая со стула. – Она будет моей женой!

От резкого движения он толкнул стол, так что опрокинулся стакан с пивом, и жидкость залила скатерть.

– Женой! – закричала на сына Катя. – Ты остатки ума потерял, да? Подобрал на дворовой помойке эту шлюху, притащил ее в наш дом! – Ты посмотри на нее! На ней уже живого места не осталось, такая она потасканная!

– Не лезь в мою жизнь! Разберись со своею! – кричал на нее в ответ старший сын.

– Что ж, ты прав, сын, надо со своей жизнью разобраться, и я разберусь! Я обязательно разберусь!

Вышла крупная ссора. Юлия рыдала, – как всегда, фальшиво, выдавливая из себя рыдания. Услышав шум, выбрался из своей комнаты проснувшийся отец, хмурый со сна, с разломаченными, густыми, когда-то роскошными кудрями.

– Что за шум, а драки нет? – забасил он своим густым баритоном. – Выпить что-нибудь осталось?

Затем, запершись в ванной комнате, Катя плакала от своей истерики, оттого, что накричала на сыновей и «сошла с катушек» (по выражению младшего сына), оттого, что дети выросли эгоистичными, черствыми, неблагодарными; что они непослушны, упрямы, даже очевидно тупы и так и норовят наделать новых ошибок вдобавок ко всем старым; плакала от своей скаредности нищенки, пожалевшей одежды для детей и угощения для гостей в ее доме; плакала оттого, что от счета каждой копейки она черствела душой, старела телом и лицом, – вон уже и морщинки сплели свою паутину вокруг глаз; плакала от того, что жизнь в своем доме ей уже не мила, даже постыла, словно жизнь в чужом доме; плакала от всей этой безысходной, как ей казалось, жизни, от этого безнадежно замкнутого круга.

Старший сын (не совсем ещё бесчувственный) стучал в дверь, чувствуя, что мать плачет, просил:

– Мам, открой, давай поговорим, мам...

– Не о чем говорить!

– Мам, ну ты же не права...

Выплакавшись, Катя разделась, пустила воду, настроила душ, залезла в ванну, встала под спасительные струи, чувствуя с наслаждением, как вода смывает с неё раздражение, досаду, обиду и прочую душевную накипь. Постепенно успокоилась. И, уже успокоившись, думала: «Уеду куда-нибудь! Обязательно! Глаза бы мои не глядели! Пусть живут, как хотят!»

В один момент она поняла, что самое лучшее – это оставить детей одних, не трястись над ними, они уже взрослые, вполне пора им становиться самостоятельными и определяться по жизни.

И она решила бросить всё и уехать к себе на родину, в забайкальский поселок, где она родилась, и связи с которым во все это время не порывала. Давно зрело это решение, да всё как-то откладывалось.

О личной жизни она уже давно не думала, одни только мысли одолевали – как выжить? Прежде на первом месте всегда были дети, думала после развода, что для детей будет жить, детей бы вырастить – пусть хоть они будут счастливы. Вот – вырастила...

...Катя потеряла работу в доме культуры, как и многие его работники. Машиностроительный завод-кормилец, содержавший дом культуры и его штатных работников, после 1993 года стал владеть жалкое существование, задышал на ладан. Из 6000 работников осталось 600 – в десять раз меньше. Что уж тут говорить о доме культуры? Закрылась библиотека, прекратила работу заводская самодеятельность, кружки, разбежались все творческие коллективы.

И с тех пор, как она потеряла работу, она многое перепробовала в поисках хоть какого-нибудь заработка. В Доме культуры заработок был маленький, но работа ей очень нравилась, и она не думала искать другую. В советские годы маленький ее заработок не ощущался в их семье, так как муж, работая на авиационном заводе, был отменным фрезеровщиком, передовиком производства, зарабатывал хорошие деньги, и жили они в солидном достатке. Обновили мебель, купили автомобиль «Жигули» и многое другое, что считалось в советской семье признаком достатка. Потеряв работу, мытарилась несколько лет, работала фасовщицей круп и макаронных изделий, продавцом в киоске, санитаркой в больнице и даже посудницей в кафе. Зарплата – сущие гроши, да и то выдаваемые чаще всего с задержками. Все фасовщицы приворовывали продукты, а киоскеры брали из кассы деньги как бы займы, но возвращать не успевали, да и нечем было, старый азербайджанец, хозяин киоска, делал ревизию неожиданно и часто. А недостачу высчитывал со всех. Продержалась в киоске она полгода, девочки-продавщицы курили в самом киоске, иной раз прокуривая его до тошноты. Продержалась только потому, что хозяин рассчитывался с ними еженедельно, и хоть какие-то деньги попадали в руки.

– Неужели, девочки, нельзя выйти на улицу покурить?

– А что? Я в форточку или в открытую дверь дым выдуваю.

В кафе посудницы помогали барменшам разбавлять пиво, закачивая в бачки кипяченую воду сверх всякой меры, а хозяин кафе штрафовал всех подряд, без разбора, при малейшей жалобе посетителей. В последнее время Катя, не стесняясь, сцепив зубы, мыла полы в двух местах, лишь бы добыть хоть каких-то денег. И несколько лет ее семью одолевала тяжкая нужда.

Как избавиться от нужды? Куда ни глянь, куда ни ткни – везде нужда. Куда ни посмотри – нужда, ещё более жуткая, чем у неё. Когда-то приличные люди ходили по мусорным бакам, собирали остатки еды и старые, выброшенные тряпки, поношенную одежду. Стыдились звать в гости прежних знакомых, чтобы никто не видел этой жуткой нужды и скудного стола. Нужда, нужда, нужда! Нужда, стыдящаяся или, наоборот, нужда бесстыдная, голая, откровенная. И ни сил, ни желания нет ее скрывать у тех, кто никогда прежде не знал этой жуткой нужды. Круг её жизни очерчен этими людьми, которые при прежнем режиме не знали нужды. И нет выхода из этого круга. Тут уж не до счастья. Нет этой жуткой нужды, как прежде, – и это уже почти счастье.

И деньги не делают людей счастливыми, думалось ей иной раз. Сколько она знает обеспеченных, но несчастных людей! Не в деньгах счастье, – так говорили люди вокруг нее. Так с детства им внушали – в школе – учителя, дома – родители, так учили их, так воспитывала вся прежняя общественная система.

Но так говорят только те, которые никогда не испытывали жуткой унижительной нужды. Наверное, разный ведется отсчет у того, что называется «не счастьем», простой «несчастливо-

стью». Для тех, кто нуждается, свой отсчет, а для тех, кто не знает нужды, свой. Разное у них понимание, разная и мера.

Надежда была только на детей, на то, что они вырастут, выучатся и поднимутся, и будут жить лучше, чем они. Но дети не радовали, и это только добавляло в жизнь ещё одну большую каплю несчастья, которая вскоре грозила переполнить всю чашу.

Муж бросил работать. Бросил из принципа, как только Катя перестала спать с ним в одной постели, а потом ещё вздумала подать на развод. И этот развод, наверное, был не вовремя, он только озлобил его.

Глядя на отца, не работали и дети. И было оправдание – безработица кругом. А пропитание само находилось, находились даже средства на выпивку, на табак. Родители по привычке суетились, кормили, так что голодать не приходилось.

И Катя по чьему-то совету занялась челночным бизнесом, надеясь поднять детей, выбраться хотя бы из крайней нужды. Одолжила пятьсот долларов и стала ездить в Китай за товаром, встретила в ряды тех, кто уже не один год торговал на рынке.

Но этот тяжкий, верблюжий труд только громко называлось бизнесом, она, как и многие ее товарки, еле-еле сводили концы с концами. Правда, занявшись торговлей, она, дети и муж уже не голодали, денег хватало и на еду, и на одежду, но не более того. Что-то купить в дом или отложить на развитие бизнеса, чтобы расширить дело, улучшить, разнообразить ассортимент, снять или прикупить и переехать в теплое помещение, подальше от дождей и ветров и других капризов погоды уже не приходилось. Вся прибыль проедалась, уходила в желудок и на обычные, семейные нужды, помощи от семьи никакой нет, – разве можно одной подняться? Челночили, привозили товар и стояли тут, в этих металлических «халабудях», на морозе, в холод и в жару, в ветер только потому, чтобы добыть хоть какое-то пропитание. Аренда же в крытых помещениях была страшно дорогая, не подступись, не по карману. На мужей не надеялись, многие сами сидели на шее своих жен, не одна она такая.

Челночный уличный и рыночный бизнес уже приходил в упадок, не то, что в первое время, в начале девяностых, когда любой товар расхватывался с колес. С улиц этот мелкий бизнес постепенно вытеснили на рынки. Кто из этих мелких торговцев успел за это время подняться, тот прикупил помещения, а может, и не одно, торговал цивилизованно, не зависел от капризов погоды. И власть смотрела на этот бизнес косо, теснила его, зажимала, душила различными запретами, арендной платой за право разовой торговли. Теперь тут остались в основном те, кому не светило подняться и стать цивилизованным торговцем,

Муж Валерий усмехался, глядя на ее потуги, словно бы испытывал ее: ну-ну, давай, попробуй без меня. Он – кормилец семьи в прежние времена. Что ты без меня будешь делать? Попроси, упади на колени, и я опять пойду на завод, как прежде, каждый месяц меня зовут: возвращайся да возвращайся, у завода снова появились военные заказы, а без него, Валерия, цех никак не справляется с обработкой лонжеронов – одной из деталей самолетов, на обработке которых он был непревзойденным специалистом. Усмехался: раньше я вас кормил, и вы сытые и одетые ходили, а теперь сами барахтайтесь, без меня.

Но самое главное, мужа совсем не интересовали дети, их будущее. Казалось, он только и хотел того, чтобы им было хуже, чтобы они почувствовали то, как хорошо они жили, когда работал отец. Ждал, что она попросит помощи у него прямо или через детей. Но она, сцепив зубы, карабкалась. Развелась с ним, чтобы отрезать его раз и навсегда. Душой-то отрезала, но как отрежешь в быту, когда жили в одной квартире, под одной крышей, не разъедешься, не разбежишься, все и всё на виду. Да и как быть с детьми? Не оставишь же их одних на попечении спивающегося и равнодушного отца.

VI

Прежде Никитин как-то не задумывался особенно о своем имущественном и социальном положении. Постепенно за эти три года он привык тому, что он – безработный, без гроша в кармане, бедняк, нищий, влачит жалкое существование, выживает с семьей, добывает деньги на пропитание чем придется и где придется. Одевается он в старенький полушубок на искусственном меху, ездит на старенькой машине, иной раз у него нет денег не только на бензин, но даже на общественный транспорт. Но утешало его то, что он не один такой, с годами он и к этому привык, потому что есть такое человеческое свойство, отвратительное оно или необходимое для выживания, неизвестно, но которое называется так: ко всему привыкается – и к тюрьме, и к суме.

Но оказывается, как всё меняется, когда на уме появляется мысль или мечта о женщине, когда эта мысль-мечта о любви гложет человека, и женщина, в которую он влюбился, мечтает о ней и потерял покой, относится к нему благосклонно. А женщины, какими бы они ни были скромными или притязательными, требуют денег, хотя бы скромных расходов и сносной одежды. Это неперемное условие. И нужно было бы остановиться и выбросить все мечты из головы, хотя бы по этой причине.

Но Никитин решил не отступаться. Он провел ревизию своему гардеробу, который представлял из себя что-то старое и жалкое. Особенно обувь – ни одной целой, сносной пригодной для свидания пары. Но это не останавливало его и никак не мешало ему думать и мечтать о Кате. Так удачно познакомился с потрясающей, как ему казалось, женщиной, – и глупо теперь отступать, а ещё глупее ждать, когда он добьется осязательного достатка, чтобы приодевшись или разбогатев, потом уже мечтать о любви. Что было на нем, то и годилось – ботинки были, брюки на нем были, свитер, рубашки, полушубок, шапка, – всё было – что ещё мужчине нужно? А деньги... их необходимое количество он добудет. Женщина стимулирует сильнее, чем все остальные стимулы.

На следующий день тридцать первого декабря с утра он сел за руль своего «жигуленка» и выехал таксовать. Решил, что за все праздничные дни не выпьет ни капли спиртного. Работать таксистом на своем автомобиле перед Новым годом, в Новогоднюю ночь и на другой день – верный и очень хороший заработок. И он не один раз прибегал к этому испытанному способу. Случалось уже в эти безработные годы, что заработка таксистом в эти праздничные дни хватало на то, чтобы прожить целый месяц, а то и больше.

В этот день он работал до одиннадцати часов вечера, приехал домой, поздравил Полю, жену с наступающим Новым годом, подарил подарков Полине и, не дожидаясь двенадцати часов, снова выехал на «самый сенокос», как говорили в кругу таксистов. При нехватке автомобилей в это время и его «жигулёнок» сходил за первый сорт.

Вернувшись в восемь утра домой, он поспал часа три-четыре, и снова поехал на заработки, и весь день без отдыха отработал. И за эти дни он заработал около десяти тысяч рублей.

И в то же время Никитин не прекращал поиски работы вне биржи, по объявлениям, просматривая газеты или вывески на столбах и заборах. Искал хотя бы какого-нибудь временного заработка. И такой временный заработок нашелся – сторожить автостоянку, правда, всего на три месяца, на время болезни основного сторожа. А отбыв свою смену, Никитин снова садился за руль «жигулёнка» и работал чаще всего по ночам, возвращаясь домой под утро.

Он стал встречаться с Катей, и в первое время местом их встречи стал рынок, куда Никитин приезжал за Катей, помогал укладывать товар в сумки, отвозил ее домой или в магазин за продуктами, потом сидели некоторое время в машине, говорили о чем-нибудь, затем он относил ее сумки к лифту, и они прощались. Катя не относилась к этому серьезно, помогает и помогает, особого повода она не давала на большее. Товарки в рядах шутили, мол, у Кати

появился хахаль, грузчик. В выходные дни он отвозил ее в город на большой центральный рынок, где было больше покупателей и где можно было хорошо и быстро расторгнуться. А затем забирал обратно.

Это тянулось целый месяц, весь январь без продвижения и без особого сближения, но и без угасания отношений. Они за это время ещё даже не перешли на «ты». А тем временем Никитин скапливал деньги, чтобы снять квартиру, где бы он мог встречаться с Катей.

Но вышло всё куда лучше.

Однажды, когда он вот так подвозил ее, и они более получаса сидели в машине перед ее подъездом, Катя была молчалива, рассеяна и даже грустна, и он почувствовал, что ей не хочется идти домой, не хочется уходить.

– Что с вами, Катя? – спросил он её. – Что-нибудь случилось?

– Не знаю. Что-то на меня сегодня меланхолия напала, – ответила она. И улыбнулась грустно.

Никитин почувствовал сильное желание поцеловать её, как тогда, в первый день знакомства. Да и в последующие дни хотел поцеловать, когда они вот так же сидели в машине или стояли на площадке у лифта. И теперь он привлек ее к себе и поцеловал – нежно, не поддаваясь страсти, которой ещё не пришло время. Она отдалась ему без сопротивления, словно бы ожидала этого поцелуя и даже ещё чего-то большего, запрокинула голову, так что ее шапочка свалилась с головы, волосы рассыпались по плечам, и она прервала поцелуй.

– Ох, не нужно бы это! – с грустным вздохом проговорила она. – Не нужно бы всё это начинать!

А затем вздохнула как-то обреченно, словно бы покоряясь тому неизбежному, что должно было случиться.

– Я люблю тебя, Катя, – неожиданно перешёл он на «ты». С первого же встречи, как вошел во дворец в тот вечер, как увидел тебя, а потом узнал... Только о тебе и думаю, милая женщина, ищу тебя, хочу быть с тобой...

– Ты женатый, ничего хорошего из этого не выйдет, – добавила она с той же грустью. – Ничего хорошего из этого не бывает. Ничего!

– Выйдет или не выйдет, лучше не думать об этом, – сказал Никитин, уже взволнованный поцелуем и своим признанием и ее грустной, как понял он, покорностью и всем тем, что должно иметь желанное и скорое продолжение.

– А я не могу любить без оглядки. Как-то не привыкла или не приучена. Любить, значит и о будущем думать. Вы, мужчины, всегда думаете о будущем меньше женщин. Будущее вас не волнует.

– Будущее-будущее! Живешь, и всё время оглядываешься на это будущее. А есть ли оно вообще, это будущее? Мы как-то всё время живем этим будущим, и поэтому, наверное, никогда не бываем счастливыми. А оно, как солнечный зайчик – солнце скрылось, и нет зайчика, и никогда его не поймаешь. Мне скоро пятьдесят лет – какое у меня будущее, Катя? Жизнь почти прожита для любви, а любви в моей жизни так и не было. У меня уже никакой другой или там новой жизни не будет, о чем я могу мечтать? Вот мое будущее сейчас сидит передо мной – это ты, и я не хочу ни о чем думать, и меньше всего о будущем.

И он снова поцеловал ее – продолжительнее и страстнее. Она, закрыв глаза, не прерывала поцелуй, отдаваясь ему в поцелуе, а когда он кончил поцелуй, она, не открывая глаза, дышала глубоко и часто, должно быть, взволнованная и его признанием и поцелуем. А может, и ещё чем-то – куда большим и желанным событием.

На другой день, когда он встретил ее на рынке, Катя была весела в отличие от вчерашнего дня и после того, как погрузили товар в машину, сказала ему, как-то само собою, уже переходя на «ты»:

– Что ж мы с тобой, Саша, как бездомные, то в машине, то на улице, а то ещё в подъезде, поедem сегодня в гости...

– К тебе?

– Нет, ко мне нельзя. К тебе, я так полагаю, тоже нельзя, – добавила она с иронией. – Подружка моя уехала работать по контракту, ключи мне оставила.

– А товар?

– Отвезем ко мне домой, и поедem отмечать наше новоселье.

– Значит, у нас сегодня праздник?

– Вроде того...

После того, как отвезли товар домой к Кате, приехали во двор трехэтажного дома сталинской планировки вблизи заводского парка. Катя открыла двери ключом, который достала из сумочки, вошли в квартиру, разделись...

Квартирка оказалась однокомнатной с высокими потолками, с просторной комнатой и кухней, расположенных «трамваем», так что одно окно выходило на улицу, а другое – во двор. Она была уютная, обжитая, неплохо меблированная. Главным недостатком в ней был холодильник, который грохотал, как работающий трактор. А когда он умолкал, наступала блаженная тишина, как в горах после обвального камнепада. А главной ее достопримечательностью были двойные массивные двери с двумя створками, одна из которых запиралась на длинный железный крючок. Наверное, за такими дверями не страшно было отсиживаться в дни самых кровавых смут, чувствуя себя в полнейшей безопасности. Ни пробить, ни выломать, ни снести такие двери было невозможно. Чувствовалась забота прежней власти не только о том, чтобы жильцы чувствовали себя, согласно поговорке «дом мой – крепость моя», но и о том, чтобы жильцам было удобно перемещать мебель из квартиры на лестницу или обратно. Не то, что квартиры в домах последних пятилеток, двери в которых можно было выдавить пальцем, а протащить через них заурядный шифоньер – математическая задача со многими неизвестными...

...И с этого времени, как появилась эта квартирка в их жизни, их отношения круто изменились.

В первое время их связь обходилась без сердечных осложнений и душевных тревог. Никитин полюбил Катю глубоко и сильно, и, должно быть, этим своим чувством увлек Катю, и она отдалась своему чувству без оглядки, без страха за будущее, за завтрашний день, без этих мучительных мыслей о том, что он женат, что где-то там, в другом доме или в квартире, ходит какая-то другая женщина, с которой он связан, и у них есть общие дети. Через месяц после того, как стали они здесь встречаться, Катя совсем оставила свой дом и всю свою заботу и жажду уюта, всю свою ещё не растрченную жажду семейного счастья вкладывала в эту квартирку, из которой их в любое время могла изгнать вернувшаяся квартирная хозяйка, ее подруга. Но об этом не думали ни она, ни он. В квартире появились цветы в горшочках на подоконниках и развешенные в кашпо по стенам, скатерти, салфетки, шторы в дверных проемах и много других мелочей, заботливо подобранных и умело, со вкусом внедренных Катей в их быт.

А главное, она впоследствии стала здесь держать свой товар, который уже не отвозили в квартиру, где жили муж и дети, а складывали его здесь, и отсюда же увозили его на рынок. Или в те дни, когда Никитин дежурил на своей автостоянке и не мог ей помочь, она вызывала такси и уносила свои баулы на руках, волоком тащила их по лестничным маршам, а потом по дворовому асфальту, до автомобиля.

Если бы не эта квартирка, может, и не родилось бы этой привязанности, не завязались бы эти с каждым днем крепчающие любовные узы. Перебравшись из своей квартиры сюда, Катя не просто оставалась здесь ночевать, она стала здесь жить, перенесла из дома необходимые вещи, одежду, часть посуды, обосновавшись здесь основательно. А Никитину приходилось

неизбежно возвращаться домой. Вот так и появилось в жизни Никитина два дома, – тот, где жила его семья, и тот, где свила гнёздышко Катя, где проживали они свои безумные, жаркие ночи.

Когда Никитин оставался у Кати в этой квартире допоздна, а то даже ночевать, Катя водила его темными вечерами в пустой, неосвещенный фонарями, безлюдный парк, где они вспугивали иной раз одиноких прохожих, возвращающихся через парк с заводской вечерней смены. Катя для таких прогулок надевала свои испытанные валенки и пуховик, а Никитину вместо ботинок нашлись в квартире на антресолях старые безразмерные валенки, в самый раз для таких прогулок. Они расхаживали по пустым, заснеженным аллеям, вдыхая чистый морозный воздух, вслушиваясь в тишину, в похрустывание снега под ногами. И в этом их хождении по темному безлюдному парку было что-то романтическое. Катю привлекала тишина, безлюдность, таинственность молчаливых аллей из старых, высоких деревьев... Заводской парк был первородный, не посаженный людьми. В далекие времена, в тридцатые годы, руководители города, выделив этот участок тайги под парк, позаботились затем только о его благоустройстве, и со временем парк в поселке стал любимым местом отдыха заводчан. И березы и осины и кое-где тополи были куда как старше города, который справил в прошлом году свой шестидесятипятителетний юбилей. Катя вставала у какой-нибудь осины или у берёзы, обхватывала ее руками, прижималась к ней и говорила:

– Знающие люди говорят, что деревья отдают свою энергетику тому, кто вот так рядом с ними в обнимку постоит, а то ещё здоровья у них попросит... Я это на себе чувствовала. Вот так постою-постою с осиной рядом и домой вернусь уже с другими мыслями и настроением.

Никитин, лишенный этой поэтической или мистической стороны природы, только улыбался и говорил в ответ с легкой иронией:

– И давно ты это практикуешь?

– Это моё с самого детства. Я же деревенская, в глухомани жила, можно сказать, в тайге выросла. Я люблю лес, люблю тишину, лет с трех одна в тайгу ходила, ничего не боялась, по несколько часов гуляла... В тайге я ориентируюсь не хуже, чем в городе. Мне кажется, я бы и с дикими животными подружилась, они бы меня не тронули.

– Я в этом не сомневаюсь. Но как же тебя родители отпускали одну?

– А я их не спрашивала. Мать бы узнала – прибила бы. Меня почему-то всегда тянуло в тайгу, к деревьям, а почему – не знаю. И мне всегда одной хотелось гулять среди деревьев.

– А я тебе тут не мешаю? – слегка иронизировал Никитин.

– Нет, что ты! Так хорошо, что ты теперь в моей жизни появился, а то у меня осталась одна бытовуха, никакой отрады – рынок, дом с моими горе-домочадцами, поездки, выматывающие до изнеможения. Мне, Саш, природы очень не хватает, а выбраться некогда. Да и не с кем, хотя бы для компании.

– Ничего, до тепла доживем, будет тебе природа. Катерок мой заведем, и махнем на острова, с ночевкой, с костерком, с рыбалочкой! Там ты душу отведёшь! – заверял ее Никитин. – А по весне будем на моей «жиге» на шашлыки в лес ездить.

– Ой, какие у нас хорошие планы на будущее! Иди сюда, ко мне, Саш, давай вот так вместе постоим.

Никитин сходил с аллеи, шел по снегу к дереву, где стояла Катя, и первым делом целовал ее, прислонив к дереву. Она запрокидывала голову, и он видел, что даже в темноте сияют ее глаза.

– Катя, какие же у тебя глаза! Они даже в темноте светятся! Нет, это не глаза, а точно фонари какие-то, честное слово! – восхищался ею Никитин.

– Значит, я счастливая, и мне хорошо.

Озябнув, возвращались в свою квартирку и с удовольствием пили чай с вареньем. А потом начинали петь. Совместное пение вошло в их жизнь как бы случайно, когда сломался телевизор, и возникшую паузу нечем было заполнить. И Катя вдруг предложила:

- Саш, давай споем что-нибудь?
- С удовольствием! А аккомпанемент где возьмем?
- Зачем? Мы акапельно споём.
- А что будем петь?
- Что-нибудь русское, хоровое, чтобы за душу взяло...

Никитин знал немало песен, и не только тех, которые пели в хоре. Но Катя знала их намного больше. И если начинал он ту песню, которая ложилась на его сердце, она подстраивалась под него, и они пели либо в терцию, – тогда она пела альтовую партию, – либо на два голоса, и Катя находила вариант, чтобы спеть сопрановую партию. В первый день их совместного пения он начал своим баритоном одну из своих любимых песен:

– Что стоишь качаясь
Тонкая рябина... —

Но она его перебила.

– Нет, Саша, эту песню начинает женщина, это она страдает, жалуется на своё одиночество, а уже потом мужские голоса здесь вступают, и то лишь вначале фоном. Давай, я начну, а ты встраивайся...

Что-о стои-шь, кача-а-ясь,
То-о-нка-я-а ряби-и-на-а,
Го-оло-во-ой склоня-я-а-сь,
До-о са-а-мо-о-го тына-а.

Тут она сделала ему знак кивком головы, чтобы он вступил в песню повтором последних строчек, и Никитин подхватывал:

Головой склоняясь
До самого тына.

В другой раз уже он начинал песню про страдания молодца, чье сердечко стонало без милой, которого извела кручина:

То-о не ве-е-тер ве-е – тку кло-о-нит
Не-е дубра-а-вушка-а шуми-и-т,

Катя подхватывала две последние строчки:

То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Пели русские и другие мелодичные песни, которые легко можно было петь без музыкального сопровождения. И души их сходились и роднились от этого пения, слёзы выступали на глазах, которые они смахивали, не стесняясь друг друга. Им было хорошо вместе, счастливо, и, казалось обоим, что ничто не может их разлучить.

Иной раз Катя как бы в шутку запевала:

Огней так много золотых
На улице Саратова
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.

И потом подшучивала над собой:

- Вот тоже напасть – полюбила женатого...
- Ты сама замужня, – так же шутя отвечал Никитин.
- Я свободна от него. В отличие от некоторых.
- Жалеешь?
- Чего теперь жалеть?

А то ещё Катя частенько начинала свою любимую песню:

– Позарастили стёжки-дорожки,
Где проходили милого ножки...

Никитину очень нравилась эта песня, которую в их хоре пела вокальная группа из шести хористок. Все бабы эти были немолодые, холостые, потерявшие или мужей или «милых» где-то по дороге жизни. И они вкладывали в эту песню всю свою печаль настрадавшихся от одиночества сердец, у которых было немного шансов найти свою вторую половинку. Эта песня была одной из любимых Никитина в звучании их вокальной группы, пробивала она до слез. Но ему не нравилось одно, и он говорил Кате:

- Катя, накличем мы себе этой песней разлуку...
- Не выдумывай, милый... Это моя сольная песня, я в училищном ансамбле ее запевала.
- Катюша, пожалуйста, пой ее как-нибудь пореже...
- Не выдумывай глупости, Саша...
- В хоре бабы толковали, мол, кто и о чем поет, тот и привлекает это в свою жизнь. О горе поешь, горе и привлекаешь. Народное поверье, мол, такое есть.
- Ерунда это всё! – отвечала ему Катя.

Со временем, все более привязываясь друг к другу, они рассказывали друг другу о своей прошлой жизни. И узнавали друг друга всё больше и подробнее, и это узнавание ещё сильнее сближало их, – так сближало, словно они уже были мужем и женой. Сидит, бывало, Катя, в кресле, вяжет и рассказывает о себе, вспоминает свое детство, отца, мать, деда с бабушкой, сестер, братьев, а Никитин – весь внимание – сидит, слушает и время от времени о чем-нибудь спрашивает или переспрашивает.

– Мы хоть все деревенские, но хозяйства никогда не держали, – начинала делиться с ним своим прошлым Катя. – Мать не любила возиться с хозяйством, она любила читать, вышивать и петь. Помню, у нас в квартире по стенам кругом ее вышивки висели, очень много на православную тему... Соберет нас вокруг себя и что-то читает нам или поет. А то ещё хором поём. Это были мои первые уроки пения. Моя мать не была простой женщиной, она дворянского происхождения, ее мать, моя бабушка удрали с дедом из Читы, где расстреливали чекисты интеллигенцию, буржуев, священников. Бабушке и деду, то есть родителям моей матери достали документы простых людей, и они бежали из Читы в самую глухомань, Утени называется это местечко.

– Это что, станция такая?

– Разъезд, два-три домика было, железнодорожная служба жила, там даже поезда не останавливались, только хлебозавозка. И там мои дедушка с бабушкой переждали револю-

цию, прожили до тридцатых годов. Здесь моя мама и родилась. Время, сам знаешь, было голодное. Жили они в развалюхе, пережили войну. Потом перебрались в Малые Ковали, а это вообще глухомань. В этих Малых Ковалях я и родилась.

– Это тоже разъезд?

– Да, только поменьше значением. Утени поважнее. Дом старый, ещё дореволюционный, его подремонтируют, а он всё равно разваливается. Но вот жили как-то, учились, не жаловались, огород держали, соток тридцать картошкой засаживали... Потом ещё власти несколько домишек сляпали, в одном из них я родилась, там в школу пошла.

– А отец твой откуда?

Тут Катя замолчала, вздохнула, и Никитин почувствовал, что говорить об отце ей не очень хочется. Так оно и вышло.

– Говорить бы о нем не хотелось, потому что ничего хорошего о своем отце сказать не могу. Он из местных был, мама из нужды замуж вышла за него, этого Татарина. Моя ведь девичья фамилия Татарина. Жлоб, мужлан был мой отец, таежник, егерь, охотник, все время с винтовкой за спиной ездил на лошади. Казак вольный такой. Дома жил мало, сам был по себе, только детей матери строгал, а аборт делать запрещал. Прискачет домой на два-три дня – и опять на лошадь. У него было только две заботы – где бы бабу найти и переспать с ней и зверя подстрелить. Ни одной бабы-одиночки ни в одном поселке не пропускал. Сколько раз его убить хотели мужики за это. Напьется пантов и ездит, ищет себе какую-нибудь бабеночку для разовой забавы...

– А что это такое – панты?

– Зверя-самца завалят во время гона, а у него в рогах такой озверин водится, пантокрин называется. Потом эти рога вырезают, настаивают на спирту и пьют для увеличения сексуальной силы и омоложения, – делилась с ним Катя жизнью своего родителя. – Такой вот у меня был папаша... Нами, конечно, не занимался, ладно, главное – не обижал. А вот мать бил смертным боем. Напьется и бьет.

– За что хоть?

– А ни за что. Просто положено по их дремучему мужицкому уставу бабу бить, вот он и бил. Бил за то, что она не такая, как другие поселковые бабы, ни на кого не похожа, за то, что книжки читала, бил просто из ревности, что она выше, благороднее его. Я никогда не любила отца, относилась к нему с брезгливостью. Спасибо мамочке нашей за то, что хорошие, культурные привычки нам прививала. И, как видишь, ее труды даром не пропали.

– А дальше у тебя как?

– А дальше так: я уехала после десятилетки, поступила в Биробиджан, в культпросветучилище, закончила, приехала в Комсомольск по распределению. В Дом культуры заведующей культмассовым сектором. Зарплата восемьдесят рублей. С этого я начинала. Поселили в общежитие. А тут вдруг тетка на поселке Майском объявилась, позвала к себе жить, комнату мне выделила, она одна жила, домик старенький, огород, хозяйство, корова, свиньи. Тут я поняла, что ей помощница нужна, работница, ну я помогала, конечно, научилась корову доить... А вскорости и судьба моя тут через дорогу нарисовалась. Наискосок соседи жили, а у них – муж мой будущий... Как увидел меня – проходу не давал. Все равно, говорит, будешь моей женой. Не хотела я за него выходить, ещё и не погуляла толком, парней не узнала, жизни не видела, но отвязаться не могла от него, судьба, наверное, у меня была такая. Он был из себя сильный такой, высокий, широкоплечий, голос – труба иерихонская, а лицом не вышел, ты его видел и знаешь. На заводе за глаза корявым его звали. Озлобился он от этого. Служил в армии на севере, на Чукотке в ракетных частях, поймал, говорит, большую дозу радиации, и по лицу короста какая-то пошла. Чем только его не лечили – бесполезно! И по бабкам водили, и по врачам. Так вот и вышла за него. Привыкла, на лицо никогда не смотрела. Но жили мы хорошо, дружно лет семь-восемь. В основном дружно, только до того времени, пока я дома в декре-

тах сидела. Ему завидовали, мол, у него такая жена, а он ревновал, никуда не пускал, даже на танцы пойдем, и там какую-нибудь истерику закатит, что на меня мужики глазают. Я когда в народный драмтеатр пошла, сразу ему сказала: «Будешь ревновать, запрещать, уйду от тебя». Ничего, смирился, как миленький.

– Кем он работал?

– Фрезеровщиком. Какую-то такую деталь делал для самолета, не знаю, как называется, которую, кроме него, в цехе никто сделать не мог, и он сильно от этого важничал. Зарабатывал всегда хорошо, двое детей у нас, а нужды мы никогда не знали, потом купили «Жигули», и вот тут-то началось... Тут уже началось бл-дство, женщины, ночные возвращения, вранье, машина, мол, сломалась, я этого не потерпела... Как раз в перестройку началось... и все пошло прахом, ссоры, скандалы, пьянки начались, дружки... Ну, и вскорости развелась с ним, уже восьмой год пошел...

В другой раз уже Никитин рассказывал Кате о своей жизни:

– А у меня, Катюша, всё просто, как в сказке: было у отца три сына, двое умных, а третий дурак.

Катя рассмеялась на эти слова.

– Дурак – это ты? – спросила она.

– Ну да. Я первенец в семье, работяга, а братья мои младшие – интеллигенты. Один журналист, другой в институте преподает. Всё время подсмеивались надо мной, я, по их мнению, мужик, человек необразованный. Конечно, в высших сферах я не витал и не витаю, поэзию не знаю, классиков читал только в школе по программе, да и то по диагонали. О чем можно со мной говорить? Только о рыбалке, да о моторах и зазорах, как говорили братья. Дурак, словом. Но я на них не обижаюсь, у каждого в жизни свой путь.

– А родители ваши откуда? – спросила Катя.

– Предки мои из Волгоградской области, из потомственных учителей по отцовской линии, казачьих кровей. Жили во Фролово, станция Арчеда. Слышала про такую?

– Никогда не слышала.

– Казачья станица, довольно большая, лет десять назад в отпуск ездил на родину предков. Одно время, когда безработица пошла, хотел туда с семьей перебраться, работа в этом городе была, там нефть и газ открыли, безработицы не было. Но там, степь сплошная, выйдешь за город, скучно, рыбалки нет, природа не та, как здесь. Понял, скучать буду, тосковать, да и жена отговорила. И как видишь, к счастью, тебя вот встретил.

– А родители твои где?

– Отец давно умер. Мне четырнадцать лет было. Я его мало видел дома, он трудоголик, из цеха не вылезал в войну, считай, ночевал там. В двадцать пять лет стал заместителем начальника цеха, в тридцать – начальником. Да и потом, после войны редко, когда раньше девяти часов вечера домой приходил. Сгорел на работе. Пил, конечно, тогда нельзя было не пить, очень тяжело было выдерживать эти нагрузки. До пятидесяти лет не дожил. Мать умерла в начале девяностых, в год, когда путч был, помню, жара страшная летом была, ни дождинки летом не выпало, Амур обмелел как никогда. Ее родители, то есть дед мой с бабушкой по материнской линии, оказались в Амурской области как высланные подкулачники, дед быстро как-то умер, а бабушка выжила, подняла детей, пережили войну. Мама моя услышала про город Комсомольск-на-Амуре и семнадцатилетней девушкой уехала из дома сюда, и здесь они встретились с моим будущим отцом. Так вот мы росли, спасибо родителям, все получили высшее образование.

– А вот в нашей семье не получилось, никто так и не закончил вуза, я очень хотела в институт искусств в Хабаровск поступить, но, увы, как видишь... А так кто я? Организатор массовых мероприятий.

– Ты самый лучший организатор массовых мероприятий!

Никитин больше месяца мучился с тем, как сказать жене о том, что он полюбил женщину и встречается с ней. Катя не подталкивала его к этому признанию, она деликатно обходила этот вопрос, считая, должно быть, не без основания, что он сам как мужчина должен решить и разрешить этот вопрос: признаться ему жене или нет? А там – как будет, так и будет. Как судьба повернется. Он, чувствуя ее деликатность, был благодарен ей за это. Тем более, что она категорически была против того, чтобы он совсем бросил семью, своих дочерей, хотя у него, Никитина, даже в намерениях такого не было.

И вот в один из дней, когда он вернулся домой, и не было дома детей, он решил объясниться с женой:

– Наталья, я должен был бы давно тебе сказать, да все как-то не мог, все откладывал. Я... я полюбил женщину и встречаюсь с ней.

Жена, казалось, встретила это известие спокойно, без истерики и слёз. То ли ошарашена была, то ли до конца не смогла осмыслить сказанного им. И будущих от этого последствий.

– И это не интрижка с моей стороны, не постельные похождения, это очень...очень серьезно.

– Что ты собираешься дальше делать? – первый вопрос, который она ему задала. – Ты уйдешь из семьи и бросишь детей?

– Нет, все как есть, так и будет. Детей я не брошу, пока не встанут на ноги, по крайней мере, пока школу обе не закончат, буду помогать.

– И как же ты собираешься жить, где ночевать, здесь или у нее? – В ее голосе уже слышались ехидные, совсем не свойственные ей ноты. – И вообще, как мы будем жить? Что я буду говорить детям, когда ты не будешь ночевать дома?

– Я пока сам ничего не знаю, как я буду дальше жить. Я просто тебе сказал всё, как есть, а там как жизнь покажет.

Он отдавал должное Наталье, ее выдержке, терпению, нескандальному характеру, врожденной деликатности, она молча мирилась с его связью с другой женщиной, хотя ей со всех сторон тыкали в глаза родственники, знакомые, сослуживицы по работе. Когда он возвращался домой от Кати, его встречал неизменно горестный взгляд жены, её молчаливая укоризна, и душа его наливалась чувством вины от начинающейся семейной разрухи. Иной раз она горестно упрекала его:

– Хоть бы меня пощадил, я уже не говорю, чтобы совесть поимел. Знакомые проходу не дают, все соседи знают. Гуляли бы себе где-нибудь в сторонке. Ты совсем голову потерял.

– Не отрицаю, Наташ, голову, правда, потерял, прости меня, так уж вышло... А прятаться и по углам скрываться я не мальчишка, годы уже не те... Это в первый раз со мной такое и, наверное, в последний...

И ещё приходилось врать и выкручиваться перед Полей, говорить ребенку всякий вздор, когда по его возвращении она неизменно спрашивала его: «– Папочка, а где ты так долго был?»

Врать приходилось, а потом – мучиться.

Но о том, что бы порвать с Катей, он и помыслить не мог.

Чтобы загладить свою вину, он целый день проводил с Полиной, смотрел с ней по «видику» ее любимый многосерийный фильм о Простоквашино и его обитателях, играл с нею в различные игры, в прятки, катал ее на плечах, подбрасывал до потолка или они что-нибудь делали вместе по хозяйству.

Самые мучительные минуты наступали в их отношениях с Катей, когда, нагулявшись, напевшись, нужно было расставаться. Ему нужно было уходить в свою семью, а Кате ждать его. С этой поры начались у них осложнения.

– Если ты себе мог представить, как тяжело и мучительно любить женатого мужчину! Как мне мучительно оставаться здесь одной, когда ты уходишь к себе домой, к ней под бочок!

– Мы уже давно не спим вместе в одной постели, – отвечал ей Никитин.

– Ну и что? Живёшь там себе, а я тут одна...мучаюсь, жду тебя. Бывает, что сильно-сильно хочу, чтобы ты был рядом, а тебя нет и нет. И ждешь тебя ждешь... Знаешь, как одной спать ужасно!

– Катя, ты же спала все это время одна, ещё когда мы не были знакомы, – как-то проговорил он.

– Потому что я уже забыла, как можно спать вместе с мужчиной. А может, и не знала никогда. Не с каждым же мужчиной так бывает, чтобы просто в постели хорошо и сладко спалось. И даже без интима. А после тебя – койка холодная и постылая! Полночи не сплю!

– Ты хочешь, чтобы я бросил семью и остался здесь навсегда?

– Нет, я этого не хочу.

– А я себе этого не позволю. Уйду я к тебе или нет совсем, но детей не брошу. Просто потому... потому, что не смогу их бросить. Ты должна это понять.

– Я понимаю! Я-то, женщина, понимаю, а баба, которая тоже во мне живет, этого не понимает! И эта баба несговорчивая!

– Ну, Катя, Катюша! Ты в эти дни, когда меня нет, уходи к себе, в свой дом...

– Дом... – Она горестно усмехнулась. – Был когда-то у меня дом, а теперь он мне уже постыл! Я там уже не хозяйка, а приживалка. Эта наша с тобой квартирка стала мне родной, здесь уже мой дом!

Нередко Никитин заставлял ее хмурой и задумчивой. А то ещё – холодной, язвительно-насмешливой. Со временем он научился распознавать, что было тому причиной. Ей приходилось жить на разрыв, делить мужчину, к которому она сильно привязалась с кем-то ещё – с семьей, с его домом, с его бывшей или настоящей женой, со всем тем, что ещё было в его жизни и где не было ее рядом с ним. И она не знала об этом ничего. Что это говорило в ней – ревность или обыкновенный женский собственнический эгоизм? – Никитину было неизвестно. Но ему самому приходилось жить на разрыв. И раздваиваться между Катей и своей семьей.

В таком мучительном раздвоении прожили зиму.

Самым тяжелым испытанием, помимо этого мучительного разрыва между двумя домами и теперь как бы уже между двумя семьями и мучительного расставания с Катей, когда ему нужно было возвращаться домой, было хроническое безденежье. После январских роскошных таксовых заработков в Новый год и в Рождество, Никитин зашибал копейки как таксист и гроши как сторож на автостоянке, которых едва хватало на прокорм семье. И ему было стыдно приходить в дом к Кате, в ее гнездышко с пустыми руками.

– Ты что, Саша сегодня такой? У тебя проблемы с семьей? С детьми, с женой? – спрашивала его она.

– Зарботка нет совсем, нахлебником у тебя живу, денег ни гроша.

– Перестань даже думать об этом.

Но он не переставал думать об этом. Утешал себя, говоря:

– Ничего, не вечно же это будет длиться! Разговоры идут, что к осени на судостроительный снова будут набирать людей, обещали в цех мастером взять, надо только до осени продержаться. Они же там, в Москве, не последние дураки, чтобы и дальше нас в разрухе держать. Скорей бы уж одумались, а то жду-не дождусь. Работа будет, по-другому жизнь пойдет. Истосковался я по хорошему делу.

Однажды Катя приехала из Китая и привезла ему две пары обуви – легкие туфли для лета и кожаные ботинки для весны и осени.

– Это тебе, Саша, носи, пожалуйста, – сказала она.

Казалось бы – ничего особенного в том, что подруга так позаботилась о нем и о его здоровье, ведь, хоть и жили оба как бы на два дома, но за короткий срок стали друг другу людьми

близкими, только что не мужем и женой. Но Никитина эта забота страшно обидела. И он по-глупому оскорбился.

– Это ещё зачем – такие подарочки?

– Чтобы ты не прятал свои рваные ботинки под шкаф и не стыдился меня.

– Я не возьму, Катя. Ни за что не возьму! Я и сам способен себе купить! Как ты не понимаешь, что это меня унижает?

– Не выдумывай глупости, Саша.

– Ничего не глупости!

– Ты из своего ложного самолюбия совсем разум потерял, Саша. И не обижайся, пожалуйста...

– Могла бы и не заметить, что у меня рваные ботинки! Вот просто так взять – и не заметить!

– Я бы и не заметила, если бы ты не прятал их под шкаф. Меня унижает то, что ты прячешь от меня свою обувь и стыдишься меня... Как будто я не понимаю твоего положения. Я сама прошла жуткую нужду.

– В моем положении не думают ни о любви, ни о женщине, тем более на стороне, а сидят себе дома у печки! И таких подарков от близких женщин не принимают!

Они поссорились, и он ушёл, по-глупому хлопнув дверью.

Никитин прекратил свои визиты к Кате. Ему было стыдно говорить ей о любви в его положении, когда большую часть расходов оплачивала она, стыдно признаваться в своей нищете, когда он не мог сделать ей даже маленького подарка. И он перестал встречаться с ней. Не приезжал к ней на рынок, не отвозил ее домой, не привозил обратно. Наверное, это явилось его трусливым бегством от новых проблем, но и от его маленького счастья, этой счастливой отдушины среди лавины задавивших его житейских проблем. Это было нечестно с его стороны, надо было всё же объяснить как-то, но у него не хватало духу приехать и всё как есть объяснить Кате. А так выходило, что он просто бросал её без всяких объяснений.

Вечерами он бродил по улице мимо окон квартиры, где они жили, и видел, что в ее окне горит свет. «Сидит, наверное, ждет меня, смотрит телевизор и вяжет». Он заходил во двор, свет горел и в кухонном окне. С трудом он сдерживал себя, чтобы не идти к ней и не стучаться в квартиру.

У него были вторые ключи от квартиры, которые нужно было вернуть. Следовало прийти днем, когда ее не было дома, забрать свои вещи, уйти и оставить ключи, а двери захлопнуть на второй, английский замок.

И он пришел, собрал свои вещи, но только он собрался уходить, вошла она, как будто предчувствовала что-то. И сразу всё поняла.

– Уходишь, да? Бежишь? – спросила она сразу же с порога.

И усмехнулась горько-насмешливо. Затем разделась, сняла шубку и проговорила:

– Ну, беги-беги давай! Беги-и! Уже давно твоя семья тебя заждалась! Придумал предлог, чтобы сбежать – нищета его заела! Говорила же себе, что не надо было начинать разводить любви с женатыми мужиками!

– Катя, милая, прости за малодушие, ты мне дороже всего на свете, но я так не могу!

– А не можешь, так и беги быстрее, не мучай меня! Ну, что ты стоишь?

Никитин стоял в прихожей в полной растерянности.

Катя, уткнувшись в свою висевшую на вешалке шубу, вдруг заплакала.

– Не уходи от меня, я так одинока! – проговорила она сквозь слезы. – Я полюбила тебя, а ты уходишь, самолюбие своё несчастное унять не можешь. Это, в конце концов, не по-мужски...

– Прости-прости меня, милая! – просил прощения у неё Никитин, обнимая Катю со спины. – Ну, прости, пожалуйста...Мне самому страшно было уходить, страшно тебя потерять...Не представляю своей жизни без тебя!

Они помирились, но ботинки и туфли он так и не взял, носил прежнюю рвань.

VII

Начиная с первых теплых весенних дней, Никитин со своим другом Славкой или со знакомыми ребятами с завода нанимались строить, брать подряды у частных заказчиков. Прежде эти подряды давали неплохой заработок. Но теперь подрядов почему-то было немного, строился народ неохотно. Богатые или зажиточные люди не строились потому, что не собирались в этом городе оставаться жить и, разбогатев, думали, как бы удрать отсюда, а у бедных и нищих не было денег. Лишь немногие богатые горожане строили гаражи да нанимали людей на ремонт квартир. А голодных, безработных было так много, что работали за похлебку, за табак, за выпивку, за крышу над головой. О деньгах иной раз даже не заговаривали. Знали, что дадут сущие гроши, а рассчитаются за работу натурой – продуктами. Как-то уж совсем в это сволочное время люди стали безжалостны друг к другу.

Славка был старше Никитина на четыре года. Он давно похоронил жену и жил холостяком в ожидании скорой пенсии. Зарабатывал он себе на жизнь различными промыслами. Летом собирал грибы, ягоды, осенью лимонник, орехи, ремонтировал квартиры и делал кое-какую другую работу. Официально нигде не работал, но на бирже труда не числился. Когда-то Славка был отличным фрезеровщиком на авиационном заводе, его звали назад, в цех, специалисты рабочих профессий снова стали в цене, хоть в какой-то степени.

– Нет, на этих новых батрачить не буду! – заявлял он.

– Не голодал ты, поэтому так легко говоришь... А вот поголодал бы, не так бы говорил, – отвечал ему на это Никитин. – А мне детей поднимать нужно. Я бы сейчас на любую регулярную работу согласился, впрягся бы в любую лямку... Инженеры им теперь не нужны, а вот без хороших рабочих они не обойдутся. Сами-то они ничего не умеют делать. И это «они» в его устах (как и в устах многих рабочих людей) звучало так, словно бы некие пришлые, злые люди захватили власть в Кремле, и теперь никак не могут справиться ни с одной проблемой.

– А ты пробовал на авиационный устроиться? – как-то спросил Славка у товарища.

– И не один раз. Как инженер я для них непрофильный, я ж судостроитель. А в рабочие по возрасту не проходил, им станочники нужны, лучше бы – квалифицированные. Это ж меня учить надо, лучше молодого взять да обучить, – сетовал Никитин. – Блат везде нужен, а у меня как назло нет на авиационном заводе ни одного своего человека.

В начале мая Никитин таскал из тайги черемшу – дикий лук – тоже витамины и неплохая еда, если ее есть с хлебом. Нагрузив черемшой полные короб и рюкзак, Никитин затем, разделив ее на кучки и связав кучки нитками, дня два-три распродал черемшу у продовольственных магазинов.

– Полина, ешь черемшу, – подкладывал он дочери кустики дикого лука, когда дочь ела суп.

– Фу, она горькая! Не хочу! Мамочка, пожарь картошки!

– Поля, надо есть черемшу, болеть не будешь. Ешь её с хлебушком и солью, очень вкусно.

А со второй половины мая Никитин бросил поиски работы и промышлял рыбной ловлей со своим приятелем на озере Гайтер, где у них было устроено становище. Начиная со второй половины мая и весь июнь – время добычи речной рыбы, и нельзя было это время проспать. С середины мая в озера на икромет поперла рыба: карась, щука, сазан, попадалась даже ауха – редкая рыба.

Рыбы было очень много. Днём ее ловили сеткой, которую забрасывали с резиновой лодки, а ночью зажигали факел с намотанным куском ватного одеяла, закрепленного проволокой. Этот кусок смачивали в солярке и шли по берегу или по мелководью. Рыба шла на свет, и ее брали руками или большим сачком. Крупных сазанов и щук приходилось оглушать палкой прежде, чем бросить в мешок. За ночь набиралось несколько мешков свежей рыбы.

И семья Никитина со второй половины мая зажила сытнее, уже забыла о голодных весенних днях. Карасей и сазанов жарили, а из шук заготавливали рыбный фарш, делали котлеты, замораживали на будущие дни. Дома, в семье есть рыба, значит, будут рыбные котлеты, уха, суп из рыбы, и голодать они уже не будут до самой осени, до следующей рыбалки, когда пойдет осенний ход кеты. Были сыты и кот Васька, ходивший с крутыми боками, объевшийся рыбой, и тело Черныша заметно округлилось, были сыты и все окрестные коты и собаки, которым тоже перепадало рыбных отходов. Но хороших денег на продаже речной рыбы не заработаешь – только едой обеспечить семью, да денег заработать немного на хозяйственные мелочи. А чтобы отдать долги, собрать Полю в школу, – а это пять-шесть тысяч рублей, на одни учебники, говорили, нужно тысячу рублей, а ещё портфель, школьная форма, то да сё, – и сделать большие важные и нужные покупки – об этом и речи не было. Такие деньги могла принести только осенняя рыбалка

Никитин раз в два дня отвозил мешок рыбы домой, четверть мешка им с Катей, больше не вмещала морозильная камера холодильника, а оставшуюся пойманную рыбу быстро сбывал у продовольственных магазинов. Соскучившиеся по речной рыбе жители города, покупали её хорошо, влет, что называется, потому что стоила она очень дешево – караси тридцать-сорок рублей, сазаны – восемьдесят, щука тоже семьдесят и восемьдесят. Вырученные деньги делили с товарищем пополам, и этой половины Никитину хватало и на бензин, и на остальную еду – хлеб, муку, крупы, и купить кое-что по хозяйственным мелочам. И даже на то, чтобы сделать маленькие подарки Кате или пригласить ее куда-нибудь.

С открытием парка они с Катей гуляли по его аллеям. Уже не таились, ходили, взявшись за ручки, по-юношески. У них появилась скамеечка на детской площадке, вдаль от центральных аллей и от чужих глаз, где они назначали друг другу свидания. Иной раз он шел по ближайшей к площадке аллее и видел, что Катя его уже ждет. Или Катя шла по аллее, а он сидел и ждал ее.

В парке катались на цепочной карусели, потом на качелях и словно бы окунались в свое детство, в пионерское прошлое, в летние месяцы, проведенные обоими в пионерских лагерях.

Никитин распланировал так: в субботу он водил Полину в парк на аттракционы, из которых она больше всего любила прыгать на батуте и кататься на цепочной карусели. А в воскресенье они встречались с Катей в парке на своей лавочке или она она поджидала его в съемной квартире, а потом шли гулять по улицам или в парк.

Наступило лето – лучшая пора в их жизни. И в жизни его семьи. Летними солнечными днями, чаще всего в ее выходные, не совпадавшие с календарными выходным, они с Катей катались по Амуру на катерке. Оба были счастливые, свободные, беззаботные, быть может, единственное за всё время в жизни – беззаботные. А беззаботность – это уже половина для счастья, счастливого настроения. И эту беззаботность вселял в них Амур, его ширь, его, казалось, безбрежные просторы, ветерок, свистевший в ушах, волны и брызги, окатывавшие их, когда лодка на скорости ныряла в волну, вызывавшие смех, восторг и ощущение, что они оба вернулись в детство. Накатавшись, причаливали к песчаному островку посередине Амура, отмели, разделявшей Амур надвое и уже зараставшей травой и тальником. Здесь они загорали, валяясь прямо на песке.

– Я люблю тебя, Катя! – кричал на весь остров Никитин.

– Я тебя тоже люблю! – отвечала она ему.

Никитин приносил из носа лодки приготовленных кирпичей, составлял их друг на друга, натаскивал сушняка, разводил огонь и жарил купленные в магазине куриные крылышки и спинки из субпродуктов – что-то вроде куриного шашлыка. Затем ели этот куриный шашлык и пили вино.

– Как вкусно! Как пахнет дымом! – восторгалась Катя, и глаза ее сияли от счастья. – Никогда не думала, что дым может так вкусно пахнуть!

Затем, завалившись на песок, загорали, целовались и признавались друг другу в любви... в десятый, в сотый уже раз, но им казалось, что каждый раз по-новому.

Потом купались, смывая песок, бесились в воде, осыпая друг друга брызгами, опять испытывая тот особенный восторг от воды, хохотали и тут же в воде опять целовались в порыве какого-то дикого восторга и ощущения счастья.

Потом снова пили вино и под вечер начинали петь. Тут, на острове, они были не одни; чувствовалось здесь в некотором отдалении присутствие других людей. Несколько лодок стояли, уткнувшись носами в песок, а по ночам горело два-три костерка таких же полночников, как они с Катей. Но даже несмотря на ощутимое присутствие людей, они на острове ощущали себя в полном уединении, вдали от чужих глаз и ушей, и они давали волю своим голосам, не стесняясь и не думая о том, что могут кому-то помешать или потревожить, как это бывало в квартире, когда они начинали петь.

– Ой ты, степь широкая,
Степь раздольная... —

Начинал Никитин. И она затем входила в песню:

– Ой ты, Волга-матушка
Волга вольная...

– Как жаль, что никто про Амур не написал такой отличной песни, – с сожалением сказала Катя.

– Как это не написал? Ещё как написал! Сашка Сергунов, наш местный поэт, сколько стихов про Амур написал, на музыку их положил, мы в хоре их пели. Вот слушай, акапельная вещь...

И Никитин стал петь:

Эх, по Амуру да по батюшке
Белый-белый туман стелется
До Великого до Тихого
Океана Океаныча.
И плывет-плывет-качается
В том тумане лодка быстрая
Мимо бережка угрюмого,
Вдоль тайги дремучей-матушки.
И сидят-сидят в той лодочке
Казачья ребятня крепкая,
Машут веслами тяжелыми
И поют про Русь раздольную.

– Какая интересная, сложная музыка, – задумчиво сказала Катя. – Это он сам ее сочинил?
– Конечно.

– И слог у стихов сложный, необычное построение слов в строке.

– Именно песенное построение строчек! Знаешь, как она звучит в хоровом исполнении, многоголосием? У-У! Мы в хоре пели около двадцати сашкиных песен, на смотрах призы брали, вне конкуренции с этими песнями.

– Наверное, в нашей России, в каждом крае, в области живет такой простой человек, местный поэт, которые сочиняют песни и стихи на местные темы, на местном материале, –

задумчиво говорила Катя, покусывая травинку. – А эти стихи и песни украшают потом местные хоры, ансамбли...

К вечеру Никитин ставил палатку. Ещё приносил сушняка и свежих веток тальника, чтобы дымом отгонять тучи мотыльков и комаров.

– Ты ночевала когда-нибудь в лодке?

– Нет.

– А хочешь попробовать?

– Это было бы очень романтично, Саш. А комары нас не закусуют?

– А мы от них спрячемся.

По ночам было душно. Каждые полчаса ходили купаться и, казалось, что можно спать тут же, на берегу, на песке, вблизи воды, если бы не мотыльки и не комары... Вода в реке была теплая, почти не ощутимая телом. На противоположном берегу горел своими яркими многочисленными огнями город. Никитин раздевался, заходил в воду и заплывал далеко. Катя же боялась ночью заходить далеко в воду, а тем более заплывать, и барахталась вблизи берега.

– Катя! – кричал Никитин как бы издавдалека, заплыв слишком далеко. – Катя, плыви ко мне!

– Саша, не заплывай далеко, я боюсь!

– Катя! Я люблю тебя! – кричал он от счастья.

И голос его далеко разносился по воде, и этот звук влюбленного, быть может, слышали другие люди, которые ночевали рядом с ними на острове.

Ложились спать в лодке, выстлав дно рыбацкими полушубками и куртками, которые валялись в носу лодки всегда, в любое время года. Никитин вбивал в песок несколько стоек, сделанных из веток тальника, и привязывал к ним тент сверху. И бока также обтягивал тентом, – получился такой лодочный домик.

Почему-то всегда долго не спали, возбужденные и взволнованные, словно бы опьяненные счастьем. Слушали, как время от времени плещется о катерок волна, и на том берегу, должно быть, в ресторане отмечают какое-то событие, и оттуда в выходные всегда слышался треск и хлопки фейерверка.

Однажды, когда они вот так лежали в лодке, Катя, прижимаясь к нему, вдруг сказала:

– Мне так хорошо, что я даже боюсь своего счастья. Боюсь тебя потерять, Саша, боюсь, что это когда-нибудь кончится, и снова наступят мои будни, мои серые-серые денёчки. Опять буду себя подбадривать, говорить, что всё хорошо... В жизни уже так мало хорошего осталось, и с каждым годом этого хорошего все меньше и меньше. Чем ближе старость, тем быстрее жизнь бежит, быстрее дни пролетают. Просто тают, тают, тают...

– Не думай об этом. Я этого как-то не замечал.

– А ведь ты хотел весной бросить меня, правда же? – спрашивала Катя, вспомнив прошлое, и от этого «страшного» воспоминания только крепче прижималась к нему.

– Я не тебя хотел бросить, а просто чувствовал, что в моем положении не имею права на счастье. Комплексы меня мучили, не привык я быть нищим, совсем до ручки ещё не доходил, хоть на паперть иди... Тогда на меня нашла несусветная дурь, какое-то помешательство, отчаяние. Даже не представляю, как бы я теперь жил, если бы это случилось.

– А я, когда ещё тебя не знала, чувствовала, что в моей жизни будет ещё любовь, что я смогу ещё полюбить, – признавалась ему Катя. И признавалась уже не в первый раз. – Я долго-долго ждала любви, просила Бога, и вот ты мне встретился... Я тогда во дворце в тот первый вечер поняла, что я для тебя не просто так, а нечто большее, – призналась Катя.

– Как ты поняла? Что я глазел на тебя без конца?

– Нет. На меня многие глазают, я к этому привыкла. Ты тогда в танце, когда меня обнял, весь дрожал, и руки твои дрожали... – Она ласково улыбнулась, и морщинки лучиками побежали к ее вискам. – Я это сразу почувствовала.

Урожай овощей в этом году был отличный: огурцов, помидоров, перца, кабачков, баклажан, каш из тыквы ели вволю. Уже были сделаны и запасы, закатаны в банки и составлены в подполье и огурцы, и помидоры, и перцы, и баклажаны. Виды на капусту тоже были отличные, а значит, и ее запасы будут немаленькие. Но особенно радовала картошка, без которой зимой никак нельзя выжить, стол будет скудным и голодным. По всему было видно, что эту зиму они переживут легче и проще, чем две прошлые, голодные и скудные припасами. Оставалось для полного счастья только рыбы наловить, и будет полный набор продуктов, и его семья будет сыта до самого мая, до первой рыбалки.

К осенней рыбалке – ходу кеты – Никитин готовился особенно тщательно. Запасался потихоньку бензином, который к осени всегда исчезал с заправочных станций, перебрал двигатель и отладил свой старенький «Амур» – последнюю в его жизни крупную покупку, сделанную еще в советские годы. Сети плел Славка. Развешивал во дворе веревки от дерева к дереву и сплетал снасти, точно паук свою паутину. Для рыбалки нужно, чтобы имелось в запасе не менее трех, а лучше четырех сеток. Сети нужны были разного погружения – и мелкого и глубокого, и длинные и средние. Запас сетей был необходим не только потому, что сети требовались разного калибра и погружения, но и по той простой причине, что их легко можно было утопить, зацепившись за что-нибудь, лежащее на дне реки: за утонувшую корягу, топляк, металл, а то еще и за другую сетку. На рыбацком языке это называлось так: сели на задёв. А это горе и несчастье рыбака. Бывает, полдня кружат рыбаки на лодке вокруг этого проклятого места, стараясь вырвать сетку из плена. И сетку бросить жаль в разгар хода кеты, и сорвать ее с задёва невозможно, такой крепости были нитки. Помучившись, всё же бросали сетки, кляня всё на свете, и потом обходили это место за километр. Нельзя было исключать и того случая, что снасти могли отобрать рыбинспекторы, если вовремя не сумеешь смыться в часы их рейдов.

К началу сентября кое-как собрали Полину в первый класс, и все это обошлось его семье по скромному бюджету в пять тысяч рублей, и опять пришлось влезть в долги, а их надо было отдавать. В прежние времена, когда большинство людей еще не были так бедны и способны были покупать рыбу впрок, кетой на зиму запасались все семьи. Или почти все. Конечно, бывали исключения. Рыба стоила дешево – бутылка водки – «хвост» рыбины. И красная икра была дешевая – 30 рублей литровая банка. И почти в каждой семье был ее запас. Теперь же «хвост» кеты стоил недешево, и далеко не каждый горожанин и не каждая семья способна была сделать хорошие запасы на зиму. Но привычка к этой рыбе, привычка делать ее запасы на зиму заставляли местных жителей откладывать деньги, копить их к осенней рыбалке. И рыбакам рыбалка обходилась недешево из-за дорогого бензина, дорогих снастей, риска нарваться на крупный штраф, если поймают рыбинспекторы, или на дороге отловит рейдовая бригада местной милиции или приезжего ОМОНа.

VIII

Сентябрьская кетовая путина началась отвратительно, как и в прошлом году. Дней десять бушевала непогода, с пятое по пятнадцатое число. Первые два косяка, прошедшие в эти дни, наверное, были разбиты штормами внизу Амура, – так они думали, когда в сети попадались за тонь по две-три, а то и по одной штуке.

– Где же рыба, где рыба? – отчаивался Никитин, когда они со Славкой вытянув очередную сетку бросали в нос лодки единственный «хвост».

– Рыбу ждете? Не дождетесь! – говорили знакомые рыбаки на лодочной стоянке. – Губернаторский сынок в устье под Николаевском два сейнера пригнал, всё перегородили. Одно судно в лимане, на входе стоит, а второе в Николаевске, в самом узком месте. Кранами сетки вытягивают, сам видел! ОМОн их, сук, охраняет!

– Не сочиняй, какими ещё кранами?

– Не кранами, а лебедками!

– Ей-богу, сам же видел! И какая разница, кранами или лебедками?

Правда ли это была, или вымысел, но слухи об этом ходили упорные, доказательством чего было то, что рыба в Амур почти не проходила. Такого Никитин ещё не помнил за всё время, сколько он рыбачил на Амуре.

– Ничего еще третий ход будет. Он всегда самый рыбный, – успокаивал его Славка.

– А если не будет третьего хода?

– А куда он денется?

– Не каждый год третий ход бывает. Я уже почти тридцать лет рыбачу.

– Сегодня только семнадцатое число, погоди, вот увидишь, через пару дней третий ход начнется. Дай бог погода установится.

– Ладно, подождем – увидим...

В эти дни в городе только и разговоры шли, что о рыбе, о ней, родной, о кормилице. Это были самые важные и главные разговоры.

– Что, пошла? – спрашивали друг у друга утром по дороге на службу, на работу или в магазине, встречаясь со знакомыми.

– Говорят, ночью пойдет. Гонцы вчера проперли, значит, сегодня косяк пойдет.

В эти рыбные времена везде, куда ни зайди, в домах, в подъездах, в общественном транспорте пахло рыбой. Запах рыбы врывался в жизнь, в дома, в квартиры, в офисы, в магазины, не говоря уже о рыбных рынках и рыночках, которые существовали в городе стихийно, без разрешения властей. Где-то разделявали рыбу, где-то уже варили ее собакам, кошкам и котам, свиньям; у мусорных баков кружили стаи мух, слетавшихся на этот осенний пир из рыбьих отходов и крови, сбрасывавшихся в мусорные контейнеры из квартир. Запах рыбы – вонючий, досаждающий, устойчивый, но его терпели и сносили, потому что этой рыбной суетой был занят едва ли не каждый горожанин, каждая семья. Воистину про эту суету было когда-то сказано: день год кормит.

И разговоры горожан на работе, в обиходе, при встрече друг с другом были о рыбе и об икре.

– Ну что, сколько нынче твои взяли? – спрашивала одна хозяйка другую.

– Ой, мне сегодня муженек в ванную двадцать икрынок вывалил, так и не спала ночь, не знаю, как продержусь на работе, иду и сплю же на ходу, – отвечала ей другая хозяйка.

Или спрашивали друг друга:

– Ну, сколько нынче заготовили рыбы?

– Штук тридцать-сорок в бочку заложили точно! До весны хватит!

На рыбном базарчике заводского поселка, который находился внутри квартала, за домом, похожим на хоккейную шайбную клюшку, и который назывался «клюшкой», была особенная толкотня. Все пространство забито автомобилями, которые с трудом разъезжаются из-за тесноты. Кто-то привёз кету на продажу в фургоне, кто-то в багажнике автомобиля, а кто-то торгует с земли, разложив рыбу на полиэтиленовой пленке. Кругом грязь, лужи, месиво из жижи после зятяжного, недельного ненастья, разбросан картон, бумага, пленка, пакеты... Между продавцами бродят покупатели, переходя от одного торговца к другому. Третий день, как «пошла» кета, и здесь идет торговля рыбой. Только и слышатся разговоры:

- Пошла, пошла, родная!
- Слава те господи, пошла, родимая!
- Самки есть?
- Только поротые.
- Поротые сам лопай!
- А у тебя почему икрышки?
- По двести.
- Не, ну вообще оборзели! Куда к черту такие цены?
- Почему самцы?
- Сто пятьдесят.
- С ума, что ли, совсем сошли! Вчера здесь по сотке продавали!
- Вот и ищи вчерашний день!

Кто-то покупает, не надеясь на спад цен. А кто-то выжидает в надежде на очередной более богатый ход рыбы и более богатую добычу рыбаков, а значит изобилие рыбы на рынках и спад цен.

...В тот вечер Никитин ночевал дома, сидел на своей летней кухне, подтапливал печку и смотрел телевизор. Дождь то утихал, то вновь усиливался, а то мерно шуршал по крыше, убаюкивая. И Никитину было тепло и уютно.

Вдруг он услышал, как за воротами посигналила машина. Он понял, что к нему гости.

Накинув брезентовый плащ, он вышел из кухни, открыл калитку, – у ворот стоял Славка под зонтом. На дороге разворачивалось такси с оранжевой шашечной наверху, – вероятно, товарищ приехал на этой машине.

Прошли в летнюю кухню.

- Машина на ходу? – сразу же спросил Славка.
- Ещё спрашиваешь!
- Тогда одевайся! – скомандовал приятель, стряхивая с зонта дождевую влагу на пол.
- Что – пошла?
- Да, ребята гонцов отловили! Пошла, милая!
- Ты хочешь прямо сейчас выйти? – спросил Никитин,
- А когда же? Она нас ждать не будет. Третий ход самый короткий. Потом будем опять по одной черпать.

- Может, завтра, Слав? Смотри, как льет! Да и холодища!
- Давай-давай, собирайся! Разомлел тут, как кот на печке! всю рыбу проспим!

Никитину очень не хотелось никуда идти в дождь. Он плохо верил в то, что сегодня будет удача; знал, что если пошли гонцы, то основной косяк нужно ждать через сутки.

- Гонцы пошли, значит, рыба будет через сутки.
- Не всегда... Чует мое сердце, что в самый раз сейчас попадем, как в точку.

Никитин быстро собрался, рюкзак уже был давно готов и собран. Было около одиннадцати часов вечера.

...Выехали со двора и поехали на лодочную стоянку. Шоссе было пустынно. Дождь хлестал так, что «дворники» едва успевали смахивать потоки воды с ветрового стекла.

Наконец добрались до лодочной стоянки, где у Никитина находился на постое его катерок «Амур», который в прежние времена выпускался местным авиационным заводом как товар народного потребления.

...Когда переоделись в рыбацкие, непромокаемые комбинезоны, потом спустили катерок на воду и набрали сетку для заброса, была полночь.

С первого же заброса сетки, потянув ее, поняли: пустоты нет, и тянули сеть в тревоге и надежде: сетка тянулась натужно, тяжело, либо опять угодила на задев, либо была наполнена рыбой. Сетка все шла и шла из воды, и вдруг их тревожное ожидание сменилось радостным возгласом обоих, когда в лодку одни за другим посыпались «хвосты», серебряные огромные «горбыли» (так называли самцов) и самочки поменьше, поаккуратнее. Какое это счастье рыбака увидеть пойманную, трепещущую в сетке рыбу, услышать стук падающих на дно катерка «хвостов»!

– Вот она, милая, наша родимая рыбка, наконец-то! – проговорил Никитин.

– Да, хорошо взяли, штук сто, не меньше! – подвел итог первой ходке его товарищ.

Подплыли к берегу. Быстро покидали рыбу через люк в нос лодки. Затем набрали сетку, сложили ее на корме, то есть подготовили ее к новому забросу.

Заброс – особое рыбацкое искусство. Сетку нужно умело набрать, аккуратно уложить, чтобы она, разматываясь и уходя под воду, не запуталась. Но еще более умело ее нужно спускать в воду, чтобы она уходила в воду равномерно, не косо, не кучкой. Никитин, стоя боком к рулю и управляя, одним глазом следил за тем, что у него творится впереди, чтобы не наскокить на кого-нибудь или на что-нибудь ненароком, а другим глазом – «стрелял» за Славкой, держа малый ход, стараясь чтобы лодка не рванулась, не вильнула в сторону, – иначе Славка, не имеющий опоры на корме, мог бы свалиться в воду.

– Давай по маленькой, а то задубеем! – предложил Славка.

И хотя в целом рыбаки по опыту знают, что на рыбалке лучше не пить спиртное, что от водки рыбак ослабевает, расслабляется, теряет внимание, быстро устает, тяжело дышит... А они притом оба немолоды. Но в такую непогоду сам бог велел выпить.

Они выпили понемногу за удачу, больше для ритуала, чем для сугрева, наскоро проглотили несколько глотков чаю из термоса, наливая чай в крышку от термоса, отпивая по нескольку глотков и передавая ее друг другу... И от чая и от водки приятно зажгло внутри, и хмель быстро шибанул в голову.

Затем отплыли от берега. Никитин, развернув лодку, стал возвращаться на прежнее место, откуда делали первый заброс. Сетку забрасывал Славка, а Никитин управлял лодкой.

Никитин заметно повеселел. Куда девались усталость, тревога, беспокойство? Первый прилив хмеля – самый сладкий и самый действенный, он мигом отогнал все тревожные мысли, снял с души всю тяжесть; Никитин почувствовал себя легко, почти невесомо. К тому же удача подогревала страсть, разжигала азарт и придавала силы.

Они не замечали ни дождя, ни штормящего Амура, ни холода, только дули на озябшие пальцы и время от времени пропускали по маленькой.

Спустив сетку в воду, нужно умело развернуться, чтобы сетка «встала» поперек реки и на всю свою длину, а лодка плыла на одном уровне с ее краем – наплавом – куском пенопласта, который, сродни севшей на воду чайки, белеет из воды и служит для рыбаков своего рода маяком, ориентиром. Плывая, надо не спускать с наплава глаз, то убыстряя, то замедляя ход лодки, а то и вовсе отключить мотор и отдаться на волю течения, чтобы плыть с наплавом вровень. И не дай бог наплав близко подплывет к лодке по недосмотру или неумелому управлению судном, тогда, считай, что тонь пропала даром, и улова не будет – вся рыба пройдет мимо сетки.

Вот от всех этих мелочей и зависит рыбацкий улов – либо полную сеть выберет рыбак, либо пустую.

– Наплава не видно? – спросил Никитин товарища.

– Какой наплав, Санёк! Темень такая, да и волна... ни черта не видать! – отвечал Славка.

Рыбачили, в сущности, вслепую, рассчитывая только на интуицию и ещё на удачу, а она, эта госпожа фортуна, в рыбацком деле всего главнее.

Вторая ходка оказалась ещё более удачной, чем первая.

– Кажется, в самый раз попали, – сказал Славка

Они угодили, видимо, в самый центр идущего по реке и подошедшего к их местам косяка, точнее, в самый его эпицентр – редкая рыбацкая удача. Где-то под ними на глубине от трех до десяти метров густо, почти бок о бок «перла» на нерест рыба, растекаясь вправо и влево по притокам и протокам, крупным и мелким, преодолевая препятствия, чтобы дойти до назначенного места и исполнить великий инстинкт размножения, а там, в протоках и притоках, их тоже поджидали рыбаки со своими сетками. Всем хотелось рыбы. На кете держалось благосостояние очень многих семей, особенно в это безденежное и безработное время. Кета была кормилицей не только городов, но и небольших поселков и деревенок, давно уже оставшихся без работы и без всякой надежды на легальный заработок. Старики-нанайцы рассказывали, что прежде рыба шла так густо и так близко к поверхности воды, что иной раз по рыбьим спинам можно было перебраться с одного берега на другой. То ли в шутку, то ли всерьез говорили это старики, которым эту молву передавали их деды и прадеды. Но им было ясно обоим, что задержись они на пять-шесть часов, и такой удачи им было не видать. А тем более, если бы они вышли рыбачить завтра.

После второй тони решили, что нужно рыбу из люка катерка перевезти в контейнер, иначе перегруженный нос начнет забуриваться в волну. Никитин подогнал «Жигуль» к катерку, и всю рыбу из катерка перевезли в контейнер, для чего пришлось сделать три ходки.

Ветер заметно усилился, и шторм был уже нешуточный по меркам этой реки. Темень была непроглядная, не видно было ни одной моторки, ни одного огонька – ни красного, ни зеленого. Лишь иной раз, то вблизи, то в отдалении, слышался одинокий рокот моторной лодки, неопределенный и неясный, тонущий во мгле и в шуме дождя с ветром. Какие-то сумасшедшие рыбаки, как они со Славкой, тоже вышли за удачей в такую непогоду на тень.

Теперь сетку тянули по одному. Кто-то обязательно оставался на руле, потому что в такой шторм нельзя было бросать лодку без управления, чтобы не подставить ее под идущую на борт волну. Тогда захлестнет лодку – и конец. И выбирали сеть теперь вдвое, а то и втрое медленнее.

Пять тонн они сделали удачных, и уже выбились из сил. Штук пятьсот рыбин, а может и больше наверняка уже выловили. После каждой тони перегружали рыбу из катерка в автомобиль, а оттуда – в контейнер, оставляя лодку налегке перед каждым новым выходом на тень.

Сделали ещё одну ходку, и в шестой раз вышли на тень. И с этой тони взяли кеты так же хорошо, как и первые пять тонн.

– Наскочить на кого-нибудь, как пить дать, – высказал опасение Славка, сидя на корме. – Затарились уже под завязку, давай к берегу держать.

– Давай еще одну ходку сделаем, сбросим рыбу из сетки в люк, наберем сетку – и на тень, не будем выгружаться. Туда-сюда всего полчаса, – уговаривал товарища Никитин.

– Ты что, Санёк? Воды уже по щиколотку, катерок потихоньку заливает, – с опасением проговорил Славка... – Загрузим люк, твой «Амур» забурится в волну, в самый раз на дно уйдем... Чуть прозеваем волну – и копец нам.

Никитин с сожалением вынужден был согласиться с ним.

На берегу, на стоянке перекрестно били прожектора, освещая берег. Он был пустынен. Три-четыре лодки приткнулись там и сям, хозяева которых пережидали дождь где-нибудь в тепле. Единицы рискнули нынче выйти в такую непогоду на тони, а им вот так повезло. Рыбу

последних тонней перегрузили из носа катерка также в багажник, и весь улов был у них уложен в контейнере.

– Давай сходим еще, Слав, – всё ещё не унимался Никитин. – Прёт рыба, жалко бросать...А?

– Остановись! – опять осадил ее товарищ. – Жадность фраера губит, не знаешь разве? И так очень хорошо взяли, с этой бы разгрестись-разделаться...

– К утру от косяка рожки да ножки останутся, – с сожалением проговорил Никитин.

– Это уж точно, – подтвердил его товарищ.

– Сколько у нас мешков? – спросил Никитин.

– Штук пятнадцать, не больше.

Мешков не хватало, чтобы рассовать в них рыбу. Даже четверть улова не войдет в мешки. Разве они рассчитывали столько поймать? В один мешок с трудом вмещалось штук восемьдесят, но такой мешок становился неподъемен и неудобен для транспортировки.

– Вот наловили рыбы и не в радость, не знаем, что с ней делать, – посетовал Славка.

– Типун тебе на язык! – укорил его Никитин.

Обычно часть рыбы сразу же продавали покупателям, которых в рыбацкие дни было немало даже ночью. Или дожидались утра, когда начнут приезжать на лодочную стоянку первые покупатели, а первые приезжали часов в восемь утра. А до этого времени нужно было куда-то деваться. А сейчас ожидать покупателей было наивно – кто в такую погоду да по такой дороге сунется? Если завтра пойдет покупатель, то ясно, что не с утра, и можно будет выспаться.

В контейнере Славка нащупал в темноте керосиновую лампу, поставил ее на крошечный столик и стал шарить по столику, искать лежавшие на нем спички.

– Держи зажигалку, спички, наверное, отсырели, – и Никитин протянул товарищу зажигалку.

Вскоре в контейнере затеплился свет керосиновой лампы, и стало веселее, уютней. Рыбы было в нём едва ли не вполовину. Они скинули с себя все мокрые рыбацкие принадлежности, с удовольствием и наслаждением переоделись в приготовленную сухую одежду: брюки, рубахи, свитера, шерстяные носки, обувь. Допили бутылку. Закурили, размышляя, как быть дальше.

– Штук шестьсот наловили, Славка! Вот удача так удача нам привалила! – радовался удаче Никитин. – Я теперь из долгов вылезу, за Полю в школу, чтобы собрать ее, денег занимали, плюс старые долги – рассчитаюсь за все. Дрова, бензин, обновки детям, да и себя не забудем, и еще денег останется до Нового года дотянуть! Жена ворчать не будет, дети сыты-одеты будут, до весны как пить дать дотянем.

– Не радуйся раньше времени, – осадил его рассудительный приятель. – Сглазишь еще... Рыбу сбыть еще надо...

– А куда она денется? Разве было такое, чтобы рыба оставалась? Ну, цены немного скинем... Да и засолим в конце концов – это ж какой резерв, Слав? А к Новому году высушим, закоптим, на базарчик вытащим – у нас с руками ее оторвут! А икра? Если самок хотя бы половина, то каждому выйдет... выйдет... – делаю он выкладки. – Та-ак, если с каждой самки по триста граммов икры в среднем плюс триста штук на рыло – то это выйдет восемьдесят-девятисто литров икры, по сорок пять литров каждому. Да на одной только икре мы все свои дела поправим! – радовался Никитин.

– На ОМОН бы не нарваться. В город завезли ОМОНовцев из Хабаровска.

– Какой ОМОН в такую погоду? Спят как суслики!

Размышляли, как быть с рыбой дальше. Оставить рыбу в контейнере было нельзя, рыбу надо было срочно разделять, срок у нее – чуть более суток. Дождаться утра, чтобы утром продать часть покупателям? Это еще хуже – во-первых, было ясно, что в такую погоду не приедут покупатели, и все равно ее всю не продашь. Большую часть надо увозить домой, часть

разделявать, а часть тащить на рыбный базарчик на «клюшку», на жилой массив, где всегда было много покупателей.

– Давай к теще отвезем, у неё и поспим немного, – предлагал Славка.

– А разделявать? А если с утра пост омовцы поставят, мы же не прорвемся в город, дорога-то единственная, будем здесь с рыбой тухнуть... Кто-то должен разделявать, а мы продавать.

Это была правильная идея, и Славка с ним согласился. Можно было сделать еще один маневр – грузить рыбу в катерок по частям и перегонять его на одну из городских тихих стоянок, где точно не нарвешься на хабаровский ОМОН или местных ментов, а оттуда – уже домой. Но это был долгий путь, пять ходок не меньше по штормящему Амуру. Это небезопасно на груженой лодке – замучаются и до утра не управятся.

– У тещиных соседей прицеп стоит возле ворот. Взять и притянуть его сюда, погрузить все в прицеп, – предложил Славка.

– Ты что их будить будешь? – поинтересовался Никитин.

– Зачем? Мы и спрашивать их не будем, возьмем, перевезем и поставим обратно, дадим потом им пару «хвостов»...

– Это идея.

– Штук сто тут оставим, в контейнере... Выспимся, я сюда приду, продавать буду, а ты дуй на базарчик, там продавай, а жена с сестрой пусть разделявают, икру готовят, – продолжал Славка развивать общую идею.

На том и порешили.

Никитин завел автомобиль, и они поехали в слободку, где жила тёща Вячеслава. Это было недалеко. На ухабистой дороге, переваливаясь с боку на бок и ныряя в лужи, цепляя днищем особо выпиравшие бугры под маты-перематы Никитина, автомобиль на самой малой скорости выбрался на центральное шоссе слободки. Называлось шоссе Восточным. Проехали сотни двести метров, а затем через три или четыре улицы по команде Славки Никитин свернул ещё раз вправо. Приятель, сидевший рядом с ним, вглядывался в непроглядную темень улицы, в ее левую сторону. Никитин включил дальний свет фар для лучшей видимости.

– Вон прицеп, подруливай к нему, – узнал Славка родные пенаты.

Что-то темнело у забора впереди, слева от ворот. Когда подъехали к дому, ни одна собака не тявкнула, не подала голоса, словно бы все поселковые псы в эту ненастную ночь утратили все свои сторожевые инстинкты. Заметив слева мостки через кювет, Никитин подстроился под них и стал подавать автомобиль к дому задним ходом. Пришлось приспустить боковое стекло, чтобы точно въехать на мостки и ненароком не свалиться в кювет.

– Может, переждем дождь, Слав? – предложил Никитин.

– А когда он кончится? Ни конца, ни края не видать. Давай рули поближе и будем цеплять, не сахарные, чай, не растаем. Трос у тебя далеко?

– В багаже лежит, сейчас достану...

Он проехал мостки и подрулил к воротам. Оба выбрались из автомобиля, и сразу же попали под потоки холодного дождя. Никитин с сожалением подумал о том, что они поторопились переодеться, а теперь промокнули до нитки, и его хронический кашель опять даст о себе знать ночью. Там, на тони, в рыбацком облачении, увлеченные добычей, холодный дождь не чувствовался не то, что теперь.

Светя фонариком, Никитин зацепил крючок буксировочного троса за буксировочную петлю, устроенную под днищем автомобиля специально для буксировки. Затем вдвоем с товарищем подняли станину прицепа и просунули в кольцо трос и связали его.

Промокли до самой нитки. Но зацепили и вытянули прицеп на дорогу.

Затем они вернулись на лодочную стоянку. Никитин подогнал автомобиль и прицеп к контейнеру, и за полчаса они перебросали рыбу из контейнера в прицеп. Его борта были низ-

кими, и пришлось нарастить борта досками и фанерой, но все равно вся рыба не вошла в кузов, пришлось часть рыбы погрузить в багажник. Затем накрыли прицеп куском брезента, подоткнули края.

– Ну, с богом! – произнес его товарищ, когда управились и сели в автомобиль.

– Работы мне на остаток ночи, таскать да разгружаться.

– Может, тебе помочь? С тобой поеду, разгрузимся, я у тебя заночую?

– Нет, сам управлюсь, ты давай, как договорились, дуй к себе, высыпайся, а с утра на стоянку двигай...

Никитин подвёз приятеля к тещиному дома, где тот собрался провести остаток ночи. Затем развернулся, переключил фары на дальний свет и направил его на калитку дома, где уже стоял приятель, сгорбившись от льющегося сверху потоков дождя, нажимая на звонок. Слышно было, как глухо, нехотя, с ленцой залаяла собака, должно быть, не покидая своей конуры и недовольная тем, что ее потревожили.

Никитин снял фуражку, вытер тряпкой мокрый лоб, затылок, лицо, поелозил за спиной, куда тоже натекла вода, расстегнул куртку. Облегченно вздохнул, как вздыхают мужики после окончания большой важной работы, проделанной хорошо.

Отъехал он только тогда, когда в доме тещи друга зажегся свет.

IX

Никитин осторожно вёл свой «жигулёнок», то и дело приспуская боковое стекло и поглядывая назад, где ему внушали опасение наращенные борта прицепа: не развалились бы они да не растерять бы рыбу по дороге? Он уже миновал поселок, проехал поворот, ведущий на аэродром авиационного завода; вот потянулся деревянный заводской забор, за которым темнели корпуса цехов, и высилась труба котельной, – ещё немного и побежали по левой стороне домишки частного сектора другого поселка, называвшегося Победа.

И вдруг в скупом свете фар, в завесе дождя, выросла почти посередине дороги человеческая фигура в плаще-накидке с капюшоном, – взмахнула полосатым жезлом, приказывая ему остановиться и припарковать к обочине.

«ГАИ! Нарвался! – промелькнуло в голове Никитина. – Как их угораздило высунуться в такую мокрядь? Ах вы, суки! Всё пропало! Может, рвануть наудачу?»

Медленно притормаживая на мокром асфальте, он проскочил гаишника и припарковался справа у обочины метрах в пятидесяти от гаишника. И не сразу он заметил гаишную «Ладу», спрятавшуюся на зеленом газоне, в кустах. Пока гаишник шел к нему, Никитин снова подумал: «Может все же рвануть? До дома всего с полкилометра, оторвусь, главное рыбу доставить домой, а там пусть едят с потрохами».

Но тут же подумал о том, что с прицепом не оторвется от «Лады», только рыбу по дороге растеряет.

Гаишник уже подступился к нему, – Никитин приспустил боковое стекло.

– Старший лейтенант Сазонов, – козырнув, отрекомендовался гаишник рукой с повисшим на шнуре жезлом, – попрошу ваши документы.

– А что случилось, командир? – с напускной развязностью и даже веселостью спросил Никитин. – Я что-то нарушил?

– Ничего не случилось, – отвечал офицер, лица которого не было видно, оно скрывалось в глубине капюшона, словно в широком, глубоком дупле. – Совмещенный рейд ГИБДД и ОМОНа, согласно Указу губернатора. Кетовая путина, сами понимаете, проверка всех транспортных средств. Что у вас в багажнике и в прицепе?

– Ничего особенного. Так, рыбки немножко, для дома, для семьи.

– Открывайте багажник и показывайте, что у вас в прицепе, – командовал он. – И попрошу документы.

Никитин достал из бардачка водительское удостоверение и документ о праве собственности на автомобиль и отдал их гаишнику. Затем надел фуражку, застегнул куртку под самое горло и, уже предчувствуя самое скверное развитие событий, выбрался из автомобиля. Он только сейчас осознал то, что они выпивали сегодня со Славкой, а в холодную, сырую погоду запах спиртного далеко чувствуется.

В это время из «Лады» выбрался ещё один служитель порядка, тоже в плаще-накидке с капюшоном, и приблизился к ним. Этим служителем оказался омоновец. У него под плащ-накидкой поверх бронежилета угадывался автомат.

– Употребляли сегодня? – спросил Никитина гаишник. Лицо его все так же не было видно из «дупла» капюшона.

Отрицать это было глупо.

– Рыбалка, командиры, сами понимаете. Холодина такая, без этого нельзя, иначе дуба дашь. Совсем немного приняли для сугреву. Дорога пустая, никому никакого вреда не причиню. Я тут поблизости живу, три минуты, и я дома. – Он старался говорить виноватым тоном.

– Открывайте ваш багажник! – скомандовал гаишник.

Никитин открыл багажник.

– А ещё и браконьерствуете вдобавок, – с укоризной проговорил гаишник.
– Ну, какое там браконьерство, командиры? Пропитание себе добываем. Выживать-то надо. – Я безработный, никаких доходов нет, жене зарплату четыре месяца не платят, – оправдывался Никитин

– Показывайте, что в прицепе.

– А что показывать? Там тоже рыба.

Никитин откинул брезент с прицепа.

– Ничего себе немножко! – воскликнул гаишник. – Смотрите, капитан, какие масштабы? Омоновец, стоявший чуть поодаль, приблизился, чтобы полюбопытствовать, и, присвистнув от удивления, вставил свое веское слово:

– М-да, этой рыбой неделю можно целый взвод кормить. Оформляй протокол на изъятие, я свяжусь с руководством, чтобы понятых прислали, – приказал гаишнику омоновец, который, должно быть, на этом посту был старшим.

– Отвязывайте прицеп и следуйте со мной в машину, – сказал Никитину гаишник.

– Это ещё зачем мне прицеп отвязывать?

– Вашу машину перегонят на штрафстоянку, а рыба будет конфискована, – объяснял ему гаишник.

До Никитина только теперь дошел смысл его слов.

– Как это конфискована? Зачем конфискована? Командиры, Христом-богом прошу, не забирайте рыбу!

– Закон есть закон, уважаемый, без всякого снисхождения... Освобождайте багажник, отвязывайте прицеп и идите в машину. Паспорт с собой есть? – поинтересовался он.

– Зачем вам паспорт?

– Повторяю, вы будете задержаны до утра, а завтра вас с утра отвезут в суд.

– В суд? Зачем ещё в суд?

– Вы что, гражданин, простых законов не знаете? Или прикидываетесь тут дурачком?.. Вы будете задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и до утра отправлены в спецприемник. А утром вас отвезут в суд. Суд решит, какое назначить вам наказание, – штраф или суток десять-пятнадцать ареста. Понятно? Отвязывайте прицеп и идите в мою машину!

Всё было предельно ясно. Но Никитин ещё пробовал спасти рыбу.

– Командиры, не забирайте рыбу, у меня семья, дети, их кормить надо! – умолял он служителей порядка. – Штрафуйте, отправляйте в спецприемник, но оставьте мне рыбу!

– Вот все вы такие: натворите дел, а потом на жалость давите, будто мы злодеи какие-то, – вставил свое слово омоновец.

Гаишный офицер отправился к «Ладе» оформлять протокол. Никитин загородил ему дорогу.

– Командир, ну имейте снисхождение! Оформите задержание с алкоголем, оставьте мне рыбу! Семью год кормить надо, у меня двое детей-школьников! Христом-богом умоляю! Возьмите рыбы, сколько душа желает! Вы же тоже люди и у вас семьи! На колени перед вами встану!

– Не надо перед нами на колени вставать. Прощтрафились, отвечайте по закону. Чего дурака-то валять? Выгружайте рыбу из багажника и отвязывайте прицеп, – ответил на эту тираду Никитина гаишник.

И, обойдя Никитина, он направился к своей «Ладе».

Никитин попробовал уговорить омоновца.

– Командир, – подсунулся он к нему, – ну вы же люди, – пробовал он ещё раз надавить на жалость. – Не отнимайте последнее! Ей-богу, без ножа зарежете, если отнимете рыбу! Ну, что вам стоит?

Но тот уже связывался по невидимой связи со своими. Он говорил куда-то внутрь себя, вероятно, под плащом у него было пристроено средство связи и микрофон...

– Первый, первый, я пятый... Как слышишь меня?

– Первый на связи... Что у тебя? – сквозь хрип донеслось в ответ.

– Задержан автомобиль «Жигули», очень большой конфискат, нужны поняты и транспорт отбуксировать прицеп с конфискатом.

– Где находишься пятый?

– На посту, дорога в сторону поселка Менделеевский. Тут стоим на трассе, увидят нас...

Поняты негде взять, шоссе пустое, ни прохожих, ни автомобилей.

У Никитина потемнело в глазах.

«Надо было свернуть в поселок, по кочкам и болотам, но добрался бы, миновал бы этот пост, а теперь... Господи, милосердный! За что же мне так не повезло? Всё... всё ведь рухнет!» – проносилось в его голове.

– Отвязывайте прицеп и перегружайте рыбу, – напомнил омовец о себе, закончив говорить по связи с неведомым «пятым».

Ничего не оставалось делать, как выгружать из багажника рыбу в прицеп. Он был переполнен до крайности, но Никитина это уже не волновало – это была уже не его, а чужая рыба, «конфискат», за которым сейчас приедут чужие люди и куда-то рыбу увезут, «конфискуют», а они, Никитин и его семья, будут «сосать лапу» и сейчас, и зимой, и весной. Никитин перебрасывал рыбу из багажника в прицеп... Один «хвост», второй, третий, десятый... И с каждым «хвостом» словно бы уходила из Никитина надежда на жизнь, на дальнейшее выживание, на деньги, которые одолжили, чтобы собрать Полю в школу, на другие, более давние долги, на сытую жизнь детей... «И опять, опять побирушничать, просить в долг... Все заберут, всё, оставят меня ни с чем, со штрафом со многими нулями, я сяду в задницу до конца дней своих», – думал он с отчаянием и в тоже время со злой решимостью и тем самым ожесточением, которое охватило его в стычке с толстопузом на стоянке.

Омовецкий офицер тем временем возился с прицепом, отвязывал буксировочный трос, стоя спиной к Никитину. На дне пустого багажника лежала пешня для зимней рыбалки – острый на конце тяжелый лом для долбежки льда, – и решение налетело внезапно, как вихрь, затмив остатки разума.

Он вытащил пешню из багажника, секунду-другую раздумывал, глядя на «Ладу»: видит ли их другой офицер? И, убедившись в том, что второй офицер ничего не видит, размахнулся и ударил омовца по голове. Тот медленно стал оседать и заваливаться, а затем упал на станину прицепа, свесив голову вниз. Откинулся капюшон его плаща, слетела с головы фуражка, распахнулся плащ и обнажился автомат. Никитин отстегнул застежку на плаще и снял с его шеи автомат и, держа автомат и пешню за спиной, поспешил к «Ладе», – там, внутри, включив свет в салоне, гаишный офицер, писал протокол. Свет в салоне не позволял ему видеть то, что происходило на дороге. Никитин, бросив пешню, подскочил к дверке автомобиля, открыл ее и, наставив автомат внутрь салона, командовал:

– Вылезай из машины!

– Ты что, мужик, с ума сошел? – оторопело спросил гаишник. – Ты что задумал?

– Вылезай, говорю!

Гаишный офицер выбрался из «Лады».

– Достал пистоль – и сразу его на землю! – командовал Никитин.

– Глупость делаешь, мужик, – пытался отрезвить Никитина гаишник. – Подумай, сколько тебе светит за нападение на пост сотрудников правопорядка при исполнении?

– Быстро оружие на землю!

Офицер отвел рукой назад плащ и стал нашаривать на боку кобуру.

– Лишнее движение – и я тебя прошью! – предупредил его Никитин.

Офицер не стал искушать судьбу, – слышно было, как позади него пистолет упал на землю.

– А теперь отошел подальше! – снова командовал Никитин.

Офицер отступил шагов на пять, на дорогу.

Никитин поднял тяжеленький пистолет и забросил его далеко в темноту, в сторону заводского забора.

– А теперь сел в машину! – командовал он.

– Глупость делаешь, мужик! – Гаишник покачал головой. – Из-за какой-то рыбы до конца жизни сядешь.

– Вот именно, из-за какой-то рыбы! – зло процедил Никитин. – Жить нам тут не даёте, паразиты! Это наша земля, наша река-кормилица, наша рыба, наше выживание, чтобы вы по указке жирных, сытых котов тут поперек дороги нам стояли! Лиман, с-суки, в устье перегородили, чтобы губернаторский сынок ее всю выловил и икрой обожрался. Два сейнера подогнал, с охраной, краном сетки вытягивают, две ходки дошли до нас пустые! А мы без рыбы тут сидели! Мы на эту рыбу молимся, ждем-не дождемся, когда она пойдет, а вы, с-суки, нас трясете, чтобы мы голодали!

– Эти дела нас не касаются! – ответил гаишник.

– Зато нас касаются! Залезай в машину быстро! – зло командовал Никитин.

Офицер снова забрался в автомобиль.

– Приспусти чуть стекло и через щелку верни мне документы!

– Они тебе больше не понадобятся!

– А вот это уже не ваше дело!

Забрав документы, Никитин затем поднял пешню и, держа ее одной рукой, двумя ударами пробил «Ладе» оба ближних баллона – передний и задний, – машина заметно осела набок.

– Даже до дома не доедешь, дурачина, а тебя уже вычислят, – приспустив стекло, сожалеюще проговорил офицер.

После этого Никитин вернулся к своему «жигуленку», взял за ноги и оттащил омовца от машины в сторону. Тот не подавал признаков жизни. Это был уже немолодой, грузный офицер, с широкоскулым, мясистым лицом, крупным носом, с короткими, сильно поредевшими волосами, которые зачесывались назад. На его голове крови не было видно, вероятно, она быстро смывалась дождем. Никитин взял его обвисшую руку, хотел нащупать пульс, но рукава рубахи у запястья были застегнуты наглухо, к пульсу не пробиться. Потрогал шею, но пульс на ней нигде не прощупывался. «Неужели я убил его? – подумал он.

– Пятый-пятый, куда ты пропал? – слышалось под плащом. – Пятый, выйди на связь с первым...Пятый...

Надо было торопиться, времени у Никитина было в обрез. Он осмотрел трелёвочный трос, уже отвязанный от прицепа омовцем, связал трос, после чего поднял с дороги автомат, размахнулся и зашвырнул его в темноту, за обочину.

Х

Приехав домой, он загнал машину с прицепом во двор, закрыл ворота. Откинул с прицепа брезент и четверть часа потратил на то, чтобы перекидать рыбу из прицепа в сарай. Чтобы не будить детей, он затем через огород пробрался к окну, у которого стоял диван, постучал тихонько, – их дом запирался изнутри на дверные крючки, поэтому своим ключом дверь не отперешь. А будешь стучать – разбудишь детей. Через минуту-другую зажегся свет ночника, отогнулась штора – показалось заспанное, испуганное лицо жены. Никитин махнул ей рукой, мол, иди к двери.

С порога он вошел в кухню, сел на табурет, снял фуражку, вытер полотенцем лицо. Жена стояла у дверей, в ночной рубашке, с взлохмаченными волосами, хмурая со сна, с вопросительно-недоуменным выражением лица.

– Наталья, – начал он сразу, – у нас беда! И беда страшная! Я только что убил омовца, на пост гаишный нарвался!

– Да ты что?! – с тихим испугом вскрикнула жена, прикрыв рот и вытаращив глаза. – Зачем ты его убил?

– Хотели у меня рыбу отобрать, очень много рыбы поймали, я не дался им и удрал... Ни о чем не спрашивай сейчас, а только слушай, у меня нет времени, надо быстро куда-нибудь исчезнуть!

Жена, охнув, села на соседний табурет, прислонилась спиной к стоявшему в кухне шкафу для одежды, глядя на мужа широко открытыми глазами – с испугом, непониманием, недоумением, осуждением...

– Я где-нибудь отсижусь, потом дам о себе знать, – говорил Никитин. – Главное сейчас рыбу надо быстро разделать, могут приехать конфисковать её, здесь половина Славки Сенчина. Вся рыба в сарае, накрой ее чем-нибудь от мух и кошек. Срочно её разделявай и засаливай! Очень много будет икры, позови сестёр или кого-нибудь на помощь. Будут деньги и еда, до весны проживете, а там видно будет.

– Да что же это, Саша? Как же это? Как же ты мог? – ожила жена разговором.

– Не причитай! – оборвал он ее. – Как да что... У меня нет времени с тобой объясняться! Так вышло! Не мог я им так просто рыбу подарить! Столько надежд с ней у меня связано! – в сердцах выговорил он. – Детям ничего не говори, не тревожь их пока, скажи, мол, в командировку срочно уехал, на заработки. Собери мне мигом что есть из еды, котлет побольше, хлеба, помидор, огурцов... Всё в рюкзак сложи. Шевелись, давай, не рассусоливай! – прикрикнул он на неё.

Он поднялся с табурета и начал собирать вещи – достал рюкзак, стал сбрасывать туда одежду, обувь, бритвенные принадлежности, все, что нужно на первое время и попадавшееся под руку. Но жена не двигалась с места – всё ещё не верила в случившееся.

– Как же мы теперь будем жить? – с тем же тихим испугом спросила жена.

– Давай-давай, Наталья, шевелись, без вопросов! С минуты на минуту могут приехать за мной! Откуда я знаю, как мы будем жить? Нашла о чём сейчас спрашивать!

Через десять минут он собрался, поставил рюкзак у порога, огляделся. Жена стояла немая, всё так же не одетая, убитая этой новой бедой, свалившейся на неё, и ему стало жаль ее до слёз. Он обнял ее, поцеловал в щеку, сказал как можно мягче, ласковее:

– Прости меня, Наташенька! Наломал я дров! Жизнь пошла наперекосяк!

– Может, ты никуда не будешь бежать, Саша? – всё также тихо спросила жена, робко глядя на него. – Какой толк бежать, всё равно поймут?

– Нет, я им не дамся! Ни за что не дамся! – ответил он. – В тюрьме я себя представить не могу! Ни за что в тюрьму не пойду!

В их доме было три комнаты. Спальная, самая большая – сразу против входа в дом, шагов пять до входной двери. А две другие комнаты – налево, они смежные. Самая дальняя комната и самая маленькая принадлежала Алёне, а ближняя была общим залом. В зале спала Полина, когда не болела. Никитин прошел к ее кровати и остановился перед спящим ребёнком. Он сжал зубы, сдерживая себя, так хотелось ему поцеловать дочурку, но боялся её разбудить.

– Держись, Наташенька, как-нибудь проживем! – подбадривал он жену. – Будем нести свой крест до конца! Сдохну, а вас без денег не оставлю!

Уже на пороге, оглянулся и сказал:

– Прости за всё... Если можешь, прости... Береги детей!

И – вышел за ворота с рюкзаком за спиной, только щелкнул за ним железный заподок калитки.

Выезжать и двигаться сейчас куда-либо на своём, уже засвеченном автомобиле было бы глупо: автомобиль – самый верный ориентир для тех, кто его уже ищет. Поэтому он предпочёл идти пешком.

XI

Рассветало. Дождь прекратился, но бесновался сильный ветер, срывавший ворохи листьев с тополей и берез. Они сыпались на поселковую дорогу, по которой двигался Никитин, обходя мелкие лужицы, заполнившие колдобины и выбоины на ней. Наконец, он вышел на шоссе, соединявшее центральную часть города с заводским поселком. Оно было пустынно. Ни трамваи, ни автобусы ещё не вышли на маршруты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.